

0-38



№ 3 • 1975

ОГНИ
КУЗБАССА

Олег Философов

ПАМЯТЬ

Утром встала ты чутко,
И в рассветной тиши
Растопила печурку,
Поглядев на часы.

Греть похлебку поставила
И легко — пусть поспят —
Одеяло поправила,
У сопящих ребят.

Отодвинув засовы,
Снег скидала с крыльца.
Подоила корову,
Ей подкинув сенца.

В дом вернулась — по дому
Беготня ребятни.
За подол, за подойник
Ухватились они.

Ты ворчала: «Грязнушки,
Ну-ка, мыться бегом!»
Наполняла их кружки
Парным молоком.

Пили спешно. Потешно:
В молоке до ушей.
Ты их гладила нежно,
Двух своих малышей.

Улыбалась им, спрятав
Горе в сердце своем...
Шла весна в сорок пятом,
Солнце полнило дом.

Отмахав путь не ближний,
Жил в скворешне скворец.
В той, что сделал при жизни
До войны их отец.

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ, ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 27-й



390359

№ 3(48)

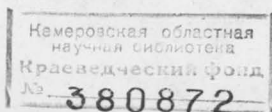
В Н О М Е Р Е

НАШ СОВРЕМЕНИК

Владимир Кузнецов. «Мы — с «Кировки». Очерк. 3

СТИХИ

Олег Философов. Память.
Николай Пискаев. Моя забота. «Почему-то мне твой дом...», «Мне все верится...» 16
Павел Майский. «Врачуют лес...», «Опять над спящею деревней...», Незабудки. 33
Сергей Донбай. Из лирической тетради 47



A

РАССКАЗЫ

Екатерина Дубро. Отвесно падали дожди.	17
Зинаида Чигарева. Платок для матери.	34
Владимир Куропатов. Дьяволица.	48
Бронислав Абрамов. Последнее задание. Встреча в дороге (из рассказов о милиции).	57

ПРОБЛЕМА!.. ДА, ПРОБЛЕМА

И. Дрейцер. Города, где мы живем.	73
---	----

ИСКУССТВО

М. Кушникова. Полвека с палитрой.	82
---	----

Редактор **В. М. МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия: **В. М. БАЯНОВ, А. Н. ВОЛОШИН,**
Г. А. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. В. МАХАЛОВ, О. П. ПАВЛОВСКИЙ (отв.
секретарь), **З. А. ЧИГАРЕВА, Г. Е. ЮРОВ.**

Адрес редакции: 650099, Кемерово, Советский пр., 94,
тел. 6-85-14

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Т. Махалова; художественный редактор
Д. Мурсалимов; технический редактор Г. Адова; корректоры
В. Лузина, Е. Тимощук

Сдано в набор 29/IV.1975 г. Подписано к печати 4/VIII.1975 г.
Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Усл. п. л. 6,43.
Уч.-изд. л. 7,24. Тираж 5000. ОП00036. Заказ 4714. Цена 27 коп.
Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5.
Кемеровский полиграфкомбинат, Кемерово, Ноградская 5

0 70500—40 —31—75
М145(03)—75

© Кемеровское книжное издательство 1975

Владимир Кузнецов

МЫ—С «КИРОВКИ»

...Дождь перед дальней дорогой, говорят,— добрая примета.

И в тот теплый августовский вечер 1960 года в Москве шел дождь. Мелкий, затяжной. Казалось, и не дождь вовсе сыплет с черного, беззвездного неба, а ниспадает на землю огромная мягкая шаль, сотканная из невидимых глазу прозрачных нитей.

Шаль стелется под колеса машин — и оттого издает шуршащий с легким присвистом звук. Она преломляет неоновый свет реклам стереокино, уличных фонарей — и оттого становится осязаемой: протяни руку — и ощутишь в ладони дар небесный.

Красива ночью площадь Свердлова! И даже тогда, когда идет дождь — добрая примета перед дальней дорогой...

Но что ждет меня там, куда я должен лететь,— в Кузбассе, в шахтерском Ленинске-Кузнецком?

Всю дорогу — от площади Свердлова до Внукова — в маршрутном автобусе думаю об этом. В воображении картины далекого от столицы кусочка России сменяют одна другую, и трудно остановиться на какой-либо. И трудно «вписать» себя хоть в одну из этих картин. Все слишком общо, без конкретных черточек и деталей. Фантазия, без малой даже опоры на реальность...

Но вот и взлетная полоса аэродрома. И красавец ТУ-104. Неси меня, птица, в неведомое далеко. Прощай, Москва, родной город...

Сосед по креслу — представительный такой на вид мужчина,— скосив глаза на мой университетский значок, заговорил первым:

— Куда, если не секрет, путь держите, молодой человек?

— В Кузбасс.

— А точнее, не секрет если?

— Не секрет. В Ленинск-Кузнецкий.

— Вот это да! Вместе, значит. И надолго в командировку?

— На работу. По направлению.

— Да... Не повезло...

Я насторожился: уж больно уныло выдавил он это из себя «не повезло...» А попутчик на минуту замолк, видимо, обдумывая что-то. Потом спокойно, рассудительно, отцовским тоном продолжил:

— Город этот я хорошо знаю, потому и советую: первым делом сапоги купи, кирзачи. Без них пропадешь. Там, как дождь прошел, любой самый паршивый дождишко—и никуда с центра без сапог не сунешься. И еще — не советую гулять поздно вечером. Народишко там... ну, в общем, сам понимаешь.

Попутчик мой был инженером, преподавал в Московском горном. В свое время и заканчивал этот институт; потом работал на шахтах Ленинска-Кузнецкого. А сейчас летел в свой первый «рабочий» город по делам, как он выразился, научным: кандидатская требовала доводки и «привязки» к местным условиям.

...От Кемерова до Ленинска-Кузнецкого ехали поездом-тихоходом. Глубокой ночью сошли на маленькой станции и с грехом пополам добрались до одноэтажной деревянной гостиницы где-то, как мне показалось, на окраине города.

Утром, когда я отправился на поиски редакции городской газеты, вновь заморосил дождь, и я тут же вспомнил моего попутчика и его первую заповедь насчет сапог-кирзачей. Да, без них здесь делать было нечего: через каких-то десяток минут дороги и тротуары покрылись сплошной пленкой жирной грязи, идти по которой мне, непривычному к местным условиям, было совсем небезопасно. Это была особенная в своем роде грязь: она не чавкала под ногами, но с какой-то неимоверной силой цеплялась за подошвы ботинок, и избавиться от нее не было никакой возможности. (Уже позднее узнал я, что эти паршивые свойства местной достопримечательности связаны с углем: пыль его, в избытке населяющая дороги и тротуары, «сдобренная» водой, становится настолько вязющей, что хоть вместо раствора на стройке ее используй.) Словом, в редакцию я — дитя столицы — появился в виде далеко непрезентабельном.

Встретили меня настороженно. А редактор — так тот сразу и огорошил:

— Поедем, квартиру брать будешь,— сказал.— Мы тебе ее тут быстрехонько вырешили, на шахте Кирова.

Небольшой деревянный дом помещался в старой части шахтерского города. С одной из квартир этого дома и съезжал срочно местный интеллигент. Он встретил меня в пустой уже квартире, представился, а потом начал считать, загибая в ладонь пальцы:

— Дверной замок — десятка; угольный ящик, что во дворе, — пятнадцать; три лампочки — их у нас здесь днем с огнем не найдешь — пятерка, табуретка — пятерка, шумовка — трояк, ведро помойное — трояк... Вроде все. Итого, рубль отбросим для ровного счета — четыре червонца выходит. Ничего не забыли?

— Фикус,— сказал я и кивнул в угол пустой комнаты, где на пятирублевой табуретке стоял довольно-таки приличный цветок.

— Ах да, фикус,— повторил вслед за мной хозяин квартиры, подошел к цветку и смачно понюхал листок.— Фикус я вам дарю, на счастье.

— Ну, а помойное ведро не рискнете подарить? — вырвалось у меня.

— Не рискну,— с улыбкой ответил он.— Куда ж вы по ночам ходить-то будете? Дубль-ноль у нас общий, во дворе. Туда по ночам не набегаешься... А вот лампочки я, пожалуй, возьму. Дефицит!

Я отсчитал от своих «тощих» подъемных сорок рублей, молча положил их на подоконник и вышел из квартиры...

Через полчаса добрался до маленькой станции, на которую прибыл ночью, и робко спросил у дежурной кассирши стоимость общего железнодорожного билета до Москвы. Мне не хватало шести рублей...

И все-таки мне чертовски повезло с этим интеллигентом: не выпотроши он меня, никогда, наверно, не повстречал бы я этих замечательных людей — шахтеров, никогда бы не узнал этот рабочий край Кузбасс, никогда бы столько не пережил, как здесь... Сама судьба привела меня к ним, шахтерам. И я благодарен за это судьбе.

Дом-барак стоял на пригорке, и потому из окон его были всегда видны чуть подернутый дымком террикон «Кировки» и клетевой ствол шахты, увенчанной пятиконечной звездой. По вечерам она ярко светила и была видна далеко-далеко...

Я познакомился с ними одновременно, точнее, в один вечер. Все трое: и Герасим Петрович Тимошенко, и Петр Яковлевич Веннер, и Андрей Иванович Луценко — работали на шахте имени С. М. Кирова. Первый — механиком участка, второй — горным мастером, третий — машинистом электровоза. И жили они все вместе — в том самом доме, где «вырешили» квартиру мне.

Они пришли ко мне первыми, в первый вечер моего холостяцкого «новоселья» — Андрей Иванович и его жена Нюра, милостивая, добродушная женщина. Походили по квартире, посмотрели на пустые углы, спросили только: «Новым соседом будете?», на что я утвердительно кивнул головой, и ушли тихо, мирно, пожелав спокойной ночи. А спустя несколько минут они вновь постучали в дверь, извинились за надоедливость и, не спрашивая на то согласия хозяина, затащили в квартиру матрац, подушку, одеяло, стул... — весь тот изначальный, немудреный «инвентарь», который создает в квартире хоть какой-то уют. В ответ на благодарность непрощенные гости только рукой махнули: «Какое тут спасибо... Вы только не стесняйтесь, у нас люди добрые. Все соседи — с «Кировки». Хотите, познакомим?»

Познакомились. Несколько лет прожили под одной крышей. И я убедился, что горняки «Кировки» — это не только люди гостеприимные; они — работающие, великодушные, очень правильные люди. Хотя и все разные, каждый со своей судьбой: с мальчишеских лет начал трудиться Петр Веннер; в четырнадцать он уже был опорой семьи; две войны прошел Андрей Иванович Луценко, вернулся на родную «Кировку» и отдал ей еще двадцать лет; рядовым проходчиком спустился в шахту Герасим Тимошенко, а сегодня он помощник главного механика, один из самых уважаемых в коллективе людей.

На протяжении нескольких лет я был близко связан с «Кировкой» и кировцами. Встречался с ними в шахте, на шумных, полных песен и

веселья праздниках, дома, в кругу семьи. И всегда после этих встреч уносил в себе заряд какой-то необъяснимой радости.

...Все было так, как и бывает в подобных случаях. Нянечка передала записку от мужа, и Раиса, пренебрегая запретом врача, встала с постели, подошла к окну и распахнула его. Внизу, под окном, с авоськой в руке стоял Анатолий, а вокруг него прыгала и резвилась дочка.

— Здравствуй, Рая.

— Здравствуй, Толя. Как дома-то?

— Да все в порядке дома. А у тебя?

— Врач говорит, что завтра-послезавтра...

— Ну вот и хорошо, если так. А ты видишь, Рая, с кем я пришел-то? — и Анатолий кивнул в сторону дочки, которая, присев на корточки, чертила прутиком по земле.

— Господи, конечно, вижу. Только потеплее ее надо было одеть.

— Да не в этом дело. Ты ведь поняла, о чем я...

— Поняла. Всем вам, мужикам, сыновей подавай.. А ты что с авоськой-то?

— На работу скоро, «тормозок» тут.

— Воскресенье ведь.

— Да, понимаешь, резать некому, попросили вот.

А потом мы шли с Анатолием Зуевым к его родной «Кировке». На редкость теплый и солнечный стоял октябрь 1971-го. И непривычно было видеть в этот по-летнему теплый и солнечный день скелеты берез и тополей, поспешивших сбросить с себя листву. И непривычно было вдыхать горьковатый запах дыма, вползающего в улицы с огородов, где жгли ботву и мусор. И непривычно было смотреть в ясное голубое небо. Благословенная непривычность!

Я шел и вспоминал все, что знал о нем, Анатолии Зуеве. Лет десять, пожалуй, тому назад произошла наша первая встреча. Анатолий только что демобилизовался из армии, заехал в Ленинск-Кузнецкий к родственникам. Надо было как-то устраивать свою гражданскую жизнь, и он попросил совета у П. Я. Веннера.

— Устроиться на «Кировку» помогу — вот и весь тебе мой совет, — сказал тогда Петр Яковлевич, — Впрочем, нет, не весь. Жить можешь у меня, так сразу общежитие никто тебе с распростертыми не даст.

Выпалил насчет жилья Петр Яковлевич, конечно, не подумав: как-никак у самого семья шесть человек, а двухкомнатная малогабаритка — не палаты царские. Выпалил, но слова обратно не взял — привычный в любом вопросе сплеча рубить.

Анатолия приняли на «Кировку» в бригаду проходчиков. Помню, как в первые дни, усталый и измотанный донельзя, он приходил домой и валялся с ног. Петр Яковлевич говорил в таких случаях:

— Втянешься. Еще на танцы после смены будешь бегать. А лучше бы — в школу, не век же тебе на подхвате быть.

Анатолий поступил в вечернюю школу. Работал и учился. И на танцы успевал — молодость брала свое... А когда впервые пришел домой с

девушкой — молодой учительницей Раей — Петр Яковлевич сразу понял: не случайно это. Потому и сказал, отозвав в сторонку: «Когда свадьба-то? Мне на свадьбе обязательно погулять надо. Это для меня, как репетиция. У самого ведь три дочери, наградил бог...»

Вскоре Анатолий женился. Съехал с квартиры родственников на частную, потом получил от шахты, в новом доме. Поступил на курсы комбайнеров проходческих комбайнов. Освоил ПК-3. Стал в бригаде фигурой заметной. Как специалиста на несколько месяцев его посылали в Демократическую Республику Вьетнам. Помогал вьетнамским друзьям осваивать новую технику, учил их тому, что сам приобрел на «Кировке» от первоклассных мастеров проходки.

А проходка — сродни подлинному искусству. Здесь можно иметь все: и удостоверение — «корочки», и большой стаж... и — не уметь резать, не чувствовать в руках комбайн, загонять его в кровлю или почву... Идущим следом за таким горе-комбайнером не работа — морока одна.

Зуев режет как по маслу. «Кировская» школа! Школа Ильи Игнатьевича Мышкина — бригадира № 1, как часто называют его на шахте.

...Новичок хорошо знал: попасть в известную всему руднику бригаду Мышкина не так-то просто. Но он знал и другое: глубоко верит в людей бригадир, на слово верит. Потому и обратился сразу к нему:

— Возьми, Илья Игнатьевич, к себе. Не подведу.

Мышкин взял. Не пугая трудностями, не беря душу парня распросами о прошлом.

А через несколько дней выслушал от начальника участка первую «новость»:

— Твой протеже-то, Игнатьич, не того... Прогулял вчера, увольнять надо.

— Подожди, — попросил Мышкин. — Я с ним поговорю.

Через месяц бригадиру пожаловались проходчики смежного звена: с ленцой оказался новичок, от тяжелой работы под разными предлогами увильнуть стремится. Мышкин убедился в этом сам. Отозвал парня из забоя, тряхнул за грудки:

— Ты меня не позорь, понял?

— Да что вы, дядя Илья... Вот скоро у меня дочка родится, в кумовья вас возьму. Честное слово.

— ...вот тебе за дядю, вот — за кума... Или работай, или родню в другом месте ищи.

Новичок предпочел последнее: уволился с участка по собственному желанию. Об этом случае в бригаде вспоминают, когда хотят подчеркнуть, что-де совсем он не плакатный герой, проходчик Илья Игнатьевич Мышкин. От земли не отрывается.

Пятнадцать лет назад пришел на шахту И. Мышкин, девять лет он — бригадир проходчиков. Десятки тысяч метров подземных выработок пройдены за эти годы. В разных геологических условиях, ручным способом и с помощью машин. За последние десять лет бригада всего

лишь четыре месяца не выполняла план. Трудно сказать, есть ли в бассейне лучший показатель, но то, что этот достаточно высок,—бесспорно.

Есть люди — и таких, конечно, абсолютное большинство,— которые не мыслят себя без работы.

Есть люди, которые не мыслят себя без трудной работы.

Илья Игнатьевич — из последних. Он может сутками пропадать в шахте, лезть в самое пекло, таскать лес, в кровь сдирая плечи... Полной физической отдачей в шахте он требует и от других.

Но современный бригадир, в первую очередь, умелый организатор производства. Илья Игнатьевич доказал это на практике.

Несколько лет назад на участке сложилась серьезная обстановка. Начальник участка никак не мог найти общего языка с бригадами. Опытный горный инженер, он и сам чувствовал, что где-то «перегнул палку», круто взял, однако навести рухнувшие мосты во взаимоотношениях с подчиненными было уже трудно. И если бригада И. Мышкина еще тянула план, то три другие проваливали его из месяца в месяц.

Руководители шахты принимают решение: объединить бригады, сплотить коллектив проходчиков, таким образом, в единое целое. Илья Мышкин становится сквозным бригадиром; вскоре его же избирают секретарем участковой партийной организации.

До предела уплотнился рабочий день бригадира. Первую смену он под землей; часть второй «улетает» на утряску всевозможных снабженческих вопросов, «пробивание» заказов на рудоремонтном заводе, изыскание «левых» (случалось и такое, куда денешься) поставщиков запчастей к машинам и оборудованию; на третьем наряде он тоже, как правило, присутствует; при необходимости спускается в шахту в ночную смену. Приплюсуйте сюда еще массу всякого рода непредвиденных забот... На шахте удивлялись, когда Мышкин спит. Некоторые даже шутили: «Ты что, Илья Игнатьевич, начальником на седьмом участке работаешь, что у тебя забот полон рот?»

Впрочем, и сам Мышкин пошутить не прочь. Одну его шутку на шахте до сих пор как анекдот рассказывают.

А дело так вышло. В свой выходной решил Илья Игнатьевич по улице прогуляться. Парадный костюм надел, рубашку белую. Вышел из дому, закурил. Ни о чем не думая, миновал одну улицу, вторую... Не заметил, как ноги сами вынесли его к шахте. Тут-то и наткнулся на рабочего из своей бригады. Хотел уж было обматерить человека за ранний выход на-гора, только тот опередил бригадира:

— «Балда»,— говорит,— Игнатьич, на комбайне полетела. На завод беги. Там, говорят, есть нужная нам железяка.

Что «полетело» в «балде» — рабочем органе комбайна, — Мышкин сообразил сразу.

— С этой железякой тебе не справиться,— остановил рабочего.— Ты лучше к механику дуй, мозгуйте, как спускать и доставлять будем. А на завод я сам, мигом.

Пришел на завод. Встретил механика участка с соседней шахты. Тот нужную Мышкину «железяку» уже выбил.

— Что ж тебе еще здесь надо?—поинтересовался Илья Игнатьевич.

— Да ничего пока не надо. Машину вот жду, чтоб домкрат на шахту отвезти.

— На кой хрен машина? На плечо взвалил да попер.

— Шустер больно, Игнатъич. В этой железяке почти центнер...

— Слабак.

— А ты сам попробуй!

— Дак, если попробую — потом не отдам. До своей шахты волоочь буду, у меня тоже «балда» полетела.

— Валяй! Полбанки, если не допрешь.

Мышкин глубоко вздохнул, взвалил домкрат на плечо и пошел.

Полдороги механик подтрунивал над Мышкиным: «Магазин проходим, Илюш, может, передохнешь?» Когда же ступили на территорию «Кировки», заканючил: «Меня ж съедят на шахте, Илья Игнатьевич, кончай шутить! Отдай — литру выставлю. Прямо сейчас же...»

Мышкин тяжело дышал, не отвечал, чтоб не сбить дыхания, и шел, шел, шел... Выпорил ведь! Только костюм выходной жаль было — напроць испортил: машинное масло ни одна химчистка не вывела.

...Ситуации, когда бригадир поднимается у нас на большую высоту, возникают часто. И это отрадно — человек растет в труде. Но иным эта высота кружит голову, они забывают дорогу в забой, ногой открывают двери кабинетов начальников, требуют, выбивают, обеспечивают бригаду тем или иным дефицитом... Они начинают таким вот способом работать за других и перестают работать за себя.

В коллективе шахтеров это — грех тяжкий.

Илья Мышкин счастливо избежал его. Да, он может при своем высоком авторитете что-то достать для бригады (когда не достанет ни один снабженец), что-то приобрести (случается, и за свои кровные), но никогда не забывает непреложной истины: рабочий должен работать. И шевелить при этом мозгами!

Серьезным испытанием для бригады явился период, когда горняки получили проходческие комбайны ПК-ЗМ. Приходилось на ходу осваивать машины, пересматривать организацию труда в забое. И здесь примером для многих вновь стал бригадир.

Пласт Бреевский-западный — один из сложнейших на «Кировке». Комбайн по нему не идет, а прыгает, как мячик. По такому пласту сильно не разгонишься: «держат» колчеданы. 500—600 метров проходки — и лопается рама комбайна. Дальше машине в забое делать нечего.

Илья Мышкин находит выход. Он вместе с механиками разрабатывает свой способ усиления рамы комбайна и всех его узлов. Пятнадцать дней в мехцехе шахты идет переоборудование машины. К горнякам приезжает конструктор комбайна. Долго смотрит, проверяет расчеты местных умельцев и... удовлетворенно разводит руками: «Все верно, добро!»

А Илья Игнатьевич уже в новом поиске: возможно ли — и если да, то как: облегчить и ускорить бурение вертикальных шпуров под анкерную крепь? Вечерами на листочках школьной тетради в клеточку он рисует контуры будущего станка. И вскоре такой станок для бурения вертикальных шпуров уже изготавливается в мехцехе предприятия. Им

управляет один проходчик; производительность труда при креплении выработок возрастает на 25 процентов.

Впоследствии такими станками будут оборудованы все комбайновые проходческие забои шахты.

Всего же рацпредложений, разработанных и внедренных в производство Ильей Игнатьевичем, десятки. Его портрет не сходит с шахтовой доски Почета; фотография бригады украшает один из стендов ВДНХ; сам бригадир — обладатель Бронзовой медали выставки.

...Человек среди людей. Нас волнует и, видимо, вечно будет волновать эта тема. Во всех ее аспектах, сложностях, единстве и противоречии.

Кто знал, кто ведал, что случится такое. Еще какой-то час назад все они — очередная смена проходчиков — улыбочиво позировали фотокорреспонденту, радовались свету, солнцу, жизни. И вот один из них на операционном столе — тяжелая подземная травма. Многочасовая борьба за жизнь человека, и короткое заключение врачей: жить будет, работать в шахте — никогда. Рухнул большой мир, и остался маленький — дом, койка, кусочек неба в прорези окна...

Так бы оно и было, если бы не люди, друзья-проходчики. И если бы не он, Илья Игнатьевич. Расширился мир маленький — бригада достроила и реконструировала дом, создала в нем все удобства; не ушел в небытие мир большой — мир человеческих общений, совместных забот, радостей, возможностей сопереживать за все творимое на родной шахте, родной бригадой...

Родная бригада. Так о своем коллективе проходчиков могут сказать многие — и молодые горняки, и те, кто проработал здесь не один десяток лет. Электрослесарь Леонид Васильевич Юкунев, например, никогда не забудет, как тепло чествовали его в день пятидесятилетия. Тогда же И. Мышкин вручил ему и подарок — телевизор «Крым».

— Откуда это? — тихо спросил Леонид Васильевич.

— Чудак человек! — ответил И. Мышкин. — Бригада ж премию получила...

И проходчик Иван Федорович Соловьев, наверно, надолго останется благодарен своему бригадиру: ведь сколько пришлось «повозиться» Илье Игнатьевичу с его «трудным» сыном. Сейчас парень на правильную дорогу стал: закончил училище, работает на производстве.

И комбайнер Анатолий Зуев, конечно же, скажет доброе слово о своем первом наставнике: он, Мышкин, рекомендовал его в партию коммунистов.

...Могучего телосложения, с открытым русским лицом, добрыми, чуть уставшими глазами — таков он, потомственный шахтер, бригадир проходчиков Илья Игнатьевич Мышкин. Он может за двоих «ворочать» в забое, «кипеть» на рабочем собрании, пробивая новую идею; мучительно долго думать над чертежом очередного технического усовершенствования, проявить свою широкую натуру в праздничном застолье; быть милым с детьми, суровым, но справедливым с друзьями... Он любит жизнь во всех ее проявлениях. Он сам зажег в ней свою звезду. И потому светить ей долго и ярко.

Мне вспоминается декабрь 1961-го. Тогда в Ленинске-Кузнецком гостил известный даргинский поэт Сулейман Рабаданов. Впрочем, гостил — не то слово. Поэт здесь работал: писал новые стихи, переводил на родной язык «Евгения Онегина», произведения Лермонтова.

Сулейман Рабаданов, уроженец южных гор, был в Сибири впервые, но она, как мне показалось, вовсе не удивляла поэта. Он был, ну, если не равнодушен, то по-своему сдержан и к ее неброской красоте природы, и ко всему тому, что окружает человека в непривычной обстановке. Единственное, к чему он проявлял постоянный интерес, были люди. Сам большой труженик, поэт уважал и ценил людей труда. Он просто и легко сходиллся с рабочим человеком, находил с ним общий язык, и расставались они потом уже друзьями.

Однажды Сулейман сказал мне:

— Хочу спуститься в шахту. Куда посоветуешь?

Мы пошли с ним на «Кировку». Этот памятный для себя день в дневнике он отметил так: «Спускаясь в шахту, мы брали с собой блокноты, карандаши. Нам казалось, что сразу же там напишем стихи... Вся работа на шахте дышала поэзией: и длинные штреки, и вагонетки, и транспортер, и улыбки шахтеров — все это дышало настоящей поэзией, поэзией труда, поэзией мужества. В шахте мы не писали. Но напишем стихи обязательно».

Признаюсь, все насчет поэзии в этой записи показалось мне тогда плодом безудержной фантазии автора — ведь мы были с ним в самой мокрой и самой негостеприимной лаве шахты, на Поленовском пласту. В свете шахтерской лампы я видел мокрую, всклокоченную бороду Сулеймана и его, казалось, расширенные донельзя глаза. Чувствовал он себя в новой обстановке явно неуютно...

Через два года я убедился, что это было не так. Сулейман сдержал слово, которое давал кировцам. Он написал книгу «Здравствуй, Сибирь». Большинство стихов в ней о «Кировке» и о кировцах.

Горняки шахты были для поэта не только родными русскими братьями, как любил он часто говорить. Они были для него и первыми ценителями его новых произведений (а переводил их в то время на русский язык рабочий обогатительной фабрики шахты имени С. М. Кирова Анатолий Шишкин), и вдохновителями творчества. Помню, как-то вечером я застал Сулеймана в его рабочей комнате за странным занятием: он устанавливал на письменном столе с десяток длинных стеариновых свечек и поочередно зажигал одну за другой. Когда все они, слабо потрескивая, засветились слабыми огоньками, он выключил свет, присел к столу и, хитро улыбаясь, объяснил:

— Несколькими днями назад выступал на «Кировке», в общегититии. Читал стихи. Сказал, что сейчас перевожу «Евгения Онегина» и что трудно он мне дается. Вышли меня ребята провожать, говорят: «А ты не расстраивайся, что перевод трудно дается. Пушкину тоже нелегко было. Он «Онегина»-то при свечах, небось, писал». Понимаешь, меня как осенило! Сознал, что ребячество это, а вот не удержался — теперь только так и работаю, в пушкинской обстановке, при свечах. Пошло, знаешь ли, дело-то. И хорошо пошло...

И он процитировал из «Онегина»:

«Прошла любовь, явилась муза,

И прояснился темный ум».

Все поэты, видно, люди со странностями. Не будем судить их, тем более, если странность эта на пользу дела.

В августе 1960-го я впервые спустился в преисподнюю «Кировки». Директор шахты вызвал к себе десятника вентиляции — молодого, со спортивной фигурой парня — и сказал.

— Покажи вот журналисту наше хозяйство.

Больше из наставлений директора моему «гиду» я ничего не уразумел. Они говорили на непонятном мне языке, где каждое второе слово звучало, как вензюр, бремсберг, гезенг...

Мы пробыли под землей часов шесть-семь. Они мне показались вечностью. А когда поднялись на-гора и я буквально валился с ног от усталости, мой провожатый спросил:

— Ну, в шахту больше ты уж никогда не пойдешь, верно?

Сознаюсь, он угадал мое настроение: впервые эта самая мысль мелькнула у меня еще там, в маломощной, но длинной-длинной ручной лаве, которую мы пропахали своими животами от вентиляционного до конвейерного штреков. Невозможно было отделаться от ощущения, что вот здесь, в лаве, «бомбящей» тебя сверху кусочками угля и начиненной «стреляющими» стойками деревянной крепи, ты — всего лишь крошечная частица, что-то огромное и сверхъестественно сильное может тебя раздавить, смять, превратить в ничто. Но рядом были люди: не сторонние наблюдатели — рабочие. И пусть они стояли на коленях, но руки их, держащие обыкновенную совковую лопату, были в беспрестанном движении: на визжащий скребковый конвейер падали порции угля, уносимые к конвейерному штреку. В преисподней шла нечеловеческая работа: тяжелая, адская, но работа. И становилось неловко перед этими чумазыми — в лаве все на одно лицо — работягами за свое ничего-неделанье, и проникался огромным уважением к ним и чувствовал их величие и свое ничтожество...

Потому, наверно, — от злости на самого себя — я и ответил тогда своему «гиду»:

— Обязательно пойду. И, в первую очередь, сюда, на «Кировку».

Он плутовато улыбнулся:

— Ой ли! Уж с недельку-то точно не пойдешь — болеть будешь.

А потом на полном серьезе:

— Я, признаться, и сам чуток устал. Да что делать, директор такой маршрут выбрал. Он ведь там, в кабинете, шепнул мне: «Отбей охоту...» Это тебя касалось.

Спасибо за откровенность, безымянный десятник вентиляции! С тех пор я полюбил «Кировку» и кировцев.

...Не знаю в бассейне другой шахты, к которой вела бы улица, носящая имя своего рабочего. На «Кировку» ведет улица Чекмарева. Она названа так в честь Героя Социалистического Труда Якова Григорьевича Чекмарева. Он погиб в шахте. Погиб, спасая товарищей. По этой улице пошли позже на шахту отца его дети — два сына и дочь. Традиции не умирают....

Традиции живут. В делах и помыслах. «Кировка» — родина многих горняцких побед и патриотических начинаний на Ленинском руднике и в Кузбассе. Именно здесь, на только что родившейся «Кировке», пошли в тридцатые годы первые врубовые машины. Путевку в жизнь им дал делегат XVI Всероссийского и VII Всесоюзного съездов Советов Степан Васильевич Шишляников.

...Здесь в декабре 1935-го на тяжелой врубовке был установлен мировой рекорд.

...Здесь впервые на руднике в очистных и подготовительных забоях стала применяться цикличная, а затем сквозная комплексная организация труда.

...Здесь была достигнута высшая месячная производительность на комбайне «Донбасс» — 25 300 тонн.

...Здесь, в бригаде И. Роговского, впервые прозвучали эти два слова — «плюс 800», которые эхом отдались на многих шахтах Кузбасса.

«Кировка» стала в бассейне настоящей кузницей рабочих и руководящих кадров угольной промышленности. Сегодня среди ее «выпускников» — главные инженеры и начальники шахт, главные специалисты комбинатов и производственных объединений, преподаватели высших учебных заведений, кандидаты и доктора наук, работники министерства.

...Сорок лет «Кировке». Всякое пережила она на своем веку. Но, пожалуй, никогда так плохо не работала, как в 1973-м. Затяжная реконструкция изрядно лихорадила предприятие. Долг по добыче угля перевалил за сотню тысяч тонн. Резко упал заработок, пошатнулась трудовая дисциплина. Но что хуже всего — начались массовые увольнения. И в столь критический для предприятия момент не дрогнули те, кто начинал здесь свой трудовой путь, будь то ветераны или молодые горняки: для всех них «Кировка» была родным домом. Не на словах — на деле.

— Не в таких переплетях бывали, осилим, — сказал тогда бригадир очистной бригады, Герой Социалистического Труда Иван Алексеевич Роговский. — А «Кировке», как другу, изменить нельзя.

Он имел полное моральное право сказать так.

...Давно это было, десять лет назад, но и по сей день звенит в ушах бригадира фраза, которую бросил юдин из выступавших на шахтной профсоюзной конференции.

— А тебе, Иван Алексеевич, — сказал он тогда с трибуны, — с которых пор по шахте надо в черных очках ходить!

Сказал, как выстрелил. В самое сердце.

«Ходить в черных очках. Это значит, не смеешь открыто смотреть в

глаза людям, своим товарищам. Почему, за что?» — мучительно думал Роговской, и краска обиды заливала лицо.

Он мысленно представил весь свой путь на «Кировке». 1953 год. Впервые перешагнул порог шахты, ребята с четвертого участка приняли запросто. Стал постигать азы горняцкого дела. Через три года бригада, где он был горнорабочим, добилась рекордной месячной производительности на широкозахватный комбайн «Донбасс». «Наши рекордсмены», — любовно говорили на шахте о горняках четвертого участка.

В 1964 году здесь же, на четвертом участке, стал бригадиром сквозной комплексной бригады. Коллектив выступил инициатором движения за добычу каждой бригадой ежемесячно по 800 тонн сверхпланового угля. Имя вожака сквозной комплексной бригады не сходит со страниц городской и областной газет, пестреет с плакатов на шахтах и улицах города.

И коллектив выполнил свои обязательства.

Но в следующем, 1965, году наступил перелом. Бригада перешла работать в лаву Толмачевского пласта. Условия здесь — одни из труднейших на шахте. План года бригада выполнила. Но вот «плюс 800», несмотря на полное напряжение сил, дать уже не смогла...

А что же было дальше?

«Шахта есть шахта: в ней не всегда все легко и просто. Сломаем трудности и будем работать как прежде», — рассудил бригадир.

По-иному расценили временный срыв бригады руководители шахты.

— Мы неудобно будем чувствовать себя в городском масштабе, — сказал секретарь парткома. — Имя Роговского должно звучать.

— На шахте должен быть маяк, понимаете? — вторил ему председатель горкома профсоюза угольщиков.

— Мы создадим Роговскому условия для рекордной добычи, — предложил главный инженер предприятия.

— А Роговского я уговорю, — подвел итог директор шахты.

И уговоры начались. С постели поднимают Роговского на дому (он отдыхал перед ночной сменой) и вызывают на шахту.

— Пойдешь на первый участок, — сказал директор шахты.

— Не пойду, — ответил Роговский.

— Там же все условия. Будешь свой рекорд побивать.

— Не пойду! — настоял на своем бригадир.

Не соблазнился человек легким успехом и славой.

На следующий день Роговского задержали перед спуском в шахту и попросили срочно зайти в партком. Но и на сей раз уговорить Роговского не удалось. Просто не мог понять человек, почему, ради чего он должен оставлять свой родной коллектив в трудную минуту и уходить на готовое, тепленькое местечко.

Через несколько дней перевод Роговского на первый участок был оформлен приказом. Разговаривать с человеком больше не стали.

И он повиновался приказу, а в ответ получил презрение друзей.

Громогласное и принародное: «А тебе, Иван Алексеевич, с некоторых пор по шахте надо в черных очках ходить!»

...В перерыв Роговский ушел с профсоюзной конференции. А на другой день утром ворвался к директору шахты.

— Лучше увольте, уйду на другую шахту, а бригаду свою не брошу!

...Через год бригадиру четвертого участка шахты имени С. М. Кирова Ивану Алексеевичу Роговскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Словом и делом доказал: он — рабочий человек, шахтер с «Кировки»!

...Я люблю приходить на «Кировку»! Для меня к ней нет другой дороги, как по улице Чекмарева. По ней ходят мои друзья-кировцы. По ней ходит еще не встреченный мною мой новый товарищ...

из литературного „архива“

Первым сибирским городом, в котором началось издание книг, был Тобольск.

Типография была здесь основана в 1798 г. родичем Менделеева купцом Корнильевым.

* * *

Полиция одного из американских городов Нью-Джерси будит в полночь неаккуратных читателей городской библиотеки и препровождает до утра в полицейский участок. По закону их штата, читатели, не возвратившие книги в срок, считаются ворами.

* * *

Об Атлантиде — огромном сказочном острове, якобы исчезнувшем в океанской пучине в результате какой-то таинственной катастрофы, — за несколько столетий написано более 20 тысяч книг.

* * *

На сюжет романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» создано 6 опер: итальянским дирижером Э. Ганиели, французом Малербом, венгром Иено Губай, итальянцами И. Роббиани и С. Сассоно и советским композитором В. Анпиловым.

Моя забота

Забота вечная о хлебе
Мне, словно пахарю, дана.
Вот появилась туча в небе.
А в срок ли,
Думаю, она?
Не повредит ли сенокосу?
Природу мысленно корю.
За папиросой папиросу,
За тучей той следя, курю

И в пору жатвы замечаю,
Что вновь боюсь
Дождливых дней.
А в сушь весной переживаю
Из-за того,
Что нет дождей.

Рабочим званием козыряю
И сроком страдным дорожу.
К какому классу,
Сам не знаю,
Такой вот я
Принадлежу?

* * *

Почему-то мне твой дом
Стал все чаще сниться.
Лишь однажды был я в нем —
Заходил напиться.

Полдень жарким был тогда,
Как из пекла дуло.
— Есть ли, —
Я спросил, —

Вода?
Ты в ответ кивнула.

Разговор не завела,
Сесть не пригласила.
Молча ковш мне подала.
Вот и все,
Что было.

День тот, стихнувший в былом.
Редко вспоминаю,
А вот снится мне твой дом
Почему?
Не знаю.

* * *

Мне все верится,
Мне все кажется,
Что у нас
После будничных ссор
Неожиданно
Вдруг завяжется
Самый праздничный разговор.

Будут новые песни спеты,
И, когда уже сходит роса,
Как в селе петухи,
Враз
Наветы
Потеряют свои голоса.

В сердце светлое вспыхнет желание
И, как в юности,
У крыльца
Мы назначим такое свидание,
У которого
Нет конца.

г. БЕЛОВО

ОТВЕСНО ПАДАЛИ ДОЖДИ

РАССКАЗ

Мотор тарыхтеть перестал, а вскоре оттуда, с лодочной стоянки, пошел человек, но хруст речной гальки под его ногами скрадывался треском веселого костра.

— Эй вы, чернильницы, привет!

Подошедший не заметил сперва Алешу. А девчонки сразу зашевелились, особенно Ланка — так и потянулась навстречу.

— Игорь Витальевич, садитесь!

— Что варите? — Человек присел на корточки, и огонь осветил крутую ямку на его подбородке.

— Шишки. Это он, — торопилась ответить Ланка, — Алеша привез сегодня.

— Алексей, значит? Ну, будем знакомы: Игорь Витальевич.

Алеша пожал протянутую руку.

— А варите-то хоть с травкой?

— Нет, просто.

— Что же вы? Кедровые шишки надо варить с травой, чтобы всю смолу на нее вытянуло. Давайте-ка, кто-нибудь!

Алеша встал и, шагнув от костра, ослеп — непроглядно-черное окружило его. Добрался до твердой почвы, шагнул еще и наклонился, шаря по земле руками. Трава здесь росла жесткая и длинная, ползучие стебли ее с маленькими листочками так переплелись друг с другом, что рвать пришлось с силой.

Глазам уже вернулось зрение; не так-то, оказывается, и темно было, даже остров вполне отчетливо рисовался на тускло-серебряном переливе фиолетовой воды, и золотым значком качалось у берега отражение костра, струилось и не утекало.

— Где кедрачил? — спросил Игорь Витальевич, когда Алеша вернулся.

— Да километров за двадцать пять ездили.

— На электричке?

— Нет, на велосипедах.

— А как ты насчет рыбалки?

Алеша пожал плечами.

— Это ты напрасно, — Игорь Витальевич выпрямился, поразмял отсиженные ноги. — А я всю жизнь рыбалку люблю. Ну, чернильницы, оставайтесь, — и Алеше кивнул отдельно: — Пока.

— Куда вы? — огорчились девчонки, и особенно Ланка.

— Спать, спать, кхе-кхе, — по-стариковски, хотя был довольно моло-

дой, в шутку крикнул Игорь Витальевич. — Утром до работы окуньков хочу половить.

— Кто такой? — поинтересовался Алеша, когда шаги отхрустели.

— Новый дачник. Пока тебя не было, поселился, — ответила Вера.

Ланка молчала, пошевелила прутиком в костре. Он уже, костер, отплясал, не поддержанный свежими силами, и, став кротким, вяло долизывал последние сучья.

— Один поселился?

— Да, — снова Вера ответила. — У него моторка своя, каждое утро в город ездит, а вечером возвращается.

— А-а-а, — потянулась, зевая, Ланка. — Спать хо-хочется. Я пойду, ладно?

— И я.

— А шишки? Сварились уже.

— Завтра, Алешенька, — сонно бормотала Ланка, хотя всего лишь десять минут назад такая оживленная сидела. — Ты ведь сам погасишь костер, да?

— Конечно. Спокойной ночи.

Вера еще помедлила, словно раздумывая, уходить или остаться, и тоже ушла.

Вообще, забавно жизнь устроена — как будто бы случайные события, которых очень даже, вероятно, могло и не произойти, а именно они-то вдруг и оказываются необходимостью, от которой уже зависишь. Например, на дачу Алешу выслала мама, а могла и не выслать, потому что, говоря по секрету, был мамочкиным сынком.

Не нужно, впрочем, думать, что быть ребенком Алешиной мамы означает обладать максимумом нежности и комфорта, — нет, в данном случае все блага распределялись разумно, в полном соответствии с надобностью, но жизнь его просматривалась и прочувствовалась ею бдительнейшим образом. Алеша имел право на любые желания и любые мысли, если к тому же учесть непроизводительность их возникновения! Только желания, на мамин взгляд, имели право также и корректироваться ею, а мысли — контролироваться. Ну, с последним дело обстояло сложнее, однако имелись некоторые — самые деликатные, спешим добавить — обходные способы. А для всего этого требовалось постоянное присутствие рядом, пока мальчик не вырос настоящим человеком. Вот в таком смысле и являлся Алеша мамочкиным сынком, потому что папа-то давно уважал его суверенитет.

На дачу они все, втроем, собирались выехать несколько позже, когда подойдут отпуска, но тут-то и произошла первая случайность. Нельзя сказать, чтобы совсем непредвиденная, хотя первый раз сошло благополучно, а на второй ракета, пущенная по проволоке, которую связали ручки противоположных дверей — балконной и комнатной, сорвалась с орбиты и взвинтилась в портьеру. Плюш загорелся. Конечно, они с Юркой загасили пожар оперативно, да дырки-то в портьере остались.

Наверное, у мамы на той неделе не ладилось что-нибудь на работе, если она вдруг вспомнила — наконец-то! — что сыну ее не каких-ни-

будь десять-одиннадцать лет, а почти пятнадцать, уже, слава богу, почти взрослый человек, но чем же он занимается? Да его просто опасно, оказывается, оставлять в квартире одного, тем более, что в кладовке при дотошном осмотре было обнаружено еще одно недоделанное зажигательное устройство. Будто ему мало своего увлечения радиотехникой! Мама велела папе немедленно написать заявление на личный коттедж, и так Алеша оказался высланным из города, и то было второй случайностью, которая повлекла за собой третью.

А может быть, здесь наблюдалась обратная связь?

Разумеется, он-то сам не вдавался в анализ всех этих причинно-следственных связей, он просто переживал свои новые чувства, свыкался со своим новым состоянием. Какие там анализы, когда носишь себя словно бы и не себя, в котором совсем недавно так определенно все и объяснимо было, а сейчас перемешалось и настроения сменялись внезапно и беспричинно. Кто-то неведомый так распорядился. Кто-то трогал ручку настройки — и эфир откликался, улавливая наравне с четкой, громкой речью помехи и щелчки, какофонию всяческих звуков неясного происхождения, причем достаточно было даже не повернуть ручку настройки, а лишь едва-едва прикоснуться — и уже другая станция, другая мелодия.

Все эти необычные, свалившиеся вдруг переживания давались нелегко, но принимались покорно. Главное — иначе и быть не могло. Дороги обратно не было.

Нельзя сказать, что до сего времени так-таки и совсем обходил Алешу стороной интерес к девочкам. В третьем классе он пылко и безнадежно влюбился в Оксану. Она сидела за его спиной, и это создавало неудобства, но даже замечания учительницы Надежды Петровны не могли пересилить его желания лишний раз взглянуть на Оксану. А сама она нашла довольно простой и жестокий способ: он ей надоел, и она ткнула однажды в спину ему очень остро заточенный карандаш. Карандаш впился через тонкую рубаху в тело и хрустнул. Стало больно и обидно сначала, а через минуту — обидно и больно. Оглядываться больше не хотелось.

Потом пошли разговоры о женщинах, именно — о них, а не о девочках. Разговоры вскользь как бы, невзначай, прикрытые напускной насмешливостью, таили за собою и любопытство, и смтение — целую гамму самых противоречивых ощущений. Фильмы уже смотрелись иначе, книжки привлекали уже не только острым сюжетом военно-детективного плана. Тайны, даже объясненные кем-то, все равно оставались тайнами. Они не торопили к себе, дел и без того и было и ожидалось впереди сколько угодно, а все же место заняли прочное — где-то в области предчувствий.

И вот в такую-то пору, в самый разлад, когда неясностей и так хватало, появилась Ланка, толкнула в самое сердце. Между сердцем и нею, незнакомой девочкой, неисповедимыми путями сразу установилась таинственная связь, причем помимо самого Алеши! Раньше сердце не ощущалось, а теперь вытворяло невообразимое: вдруг обрывалось, и

тогда не доставало воздуха, вдруг оглушало неистовым ритмом или кидало в голову жар, короче — жило абсолютно независимо и беспорядочно. Собственные регуляторы настройки напрочь отказали, и мысли, вокруг этой Ланки: как бы увидеть? Увидел. Как бы познакомиться? Познакомился. Как бы вообще подольше с нею быть? Смотреть, разговаривать, молчать... Утром, еще наполовину не вернувшийся из сна, еще не открыв глаза, уже чувствовал в себе стойкую радость и, забыв, каждый раз в первое мгновение удивлялся: отчего? Ах да, Ланка!

В этот день он лишь мельком видел ее, когда шел в столовую. А потом Вера сказала, что Ланка с матерью по грибы ушли, надолго, значит.

— А ты почему осталась?

— Не хочу.

Вера странная какая-то: не поймешь ее взгляд, все куда-то в сторону ускользает.

— Так, — сказал он.

День впереди ожидался пустой. Можно было, конечно, — и даже нужно — дочитать, наконец, библиотечную книгу, да сидеть в сумеречной, узкой, как коридор, комнате было свыше всяких сил. Вообще, неподвижности, запертости он теперь особенно не выносил.

— Нарви мне цветов? — попросила Вера. — Пожалуйста.

— А сама? Вон их сколько, — махнул рукой.

Они стояли за столовой, возле оврага, через который переползала — вниз, вверх — крутая деревянная лестница на территорию пионерского лагеря.

— Я не рву цветы. Не могу.

Алеша пожал плечами и наклонился к ромашке. Все занятие, впрочем.

— А эту не надо рвать! — вскрикнула. — У нее ребенок.

То есть на одном стебле росла крупная ромашка, но и узелок еще не распустившийся.

— А ту сорвали же.

— Там еще одна взрослая оставалась.

Алеша подавил в себе вздох.

— Ну, хватит?

— Хватит. Спасибо, — взяла тощенький букетик ромашек, сунулась в них лицом и пошла.

Вот уж где два полюса: она и Ланка! Дурнушка и фея. Нескладушка тощая — и само изящество. Ланку он стеснялся — слишком женщиной она выглядела, эти совершенно невозможные линии ее тела...

В лагере за оврагом по радио пригласили всех отрядных командиров в штаб. Алешу никто куда не приглашал, даже Вера. Да, по правде сказать, ему ничего и не хотелось — лишь бы не тянулось так время. Точнее, оно попросту стояло, это время, лениво, почти незаметно шевеля минутными стрелками. Все-таки они доползли, наконец, до обеденного часа, и Алеша, смочив в реке нажаренного солнцем себя, отправился в столовую. Есть совсем не хотелось, но, может быть, встретится Ланка? Нет, еще не вернулась.

Потом он спал. А проснулся вечером — от знакомого мужского голоса, который азартно, но с легким придыханием комментировал какую-то игру.

— По-прежнему лидирует команда «Черномор», «Сибиряк» играет вяло, безынициативно, и это вызывает у болельщиков вполне законное недоумение: до сих пор матчи «Сибиряк» проводил увлеченно и на хорошем спортивном накале. Го-ол!.. Итак, счет увеличился: девять — два.

В раскрытое окошко доносились гульки, туповатые звуки ударов, потом прекратились, и комментатор пояснил:

— Мяч вылетел за пределы поля, команда «Сибиряка» безуспешно ищет его среди трибун. Ага, вот он! Простите, я вынужден занять свой пост. И сразу — гол! На этот раз — в ворота «Черномора». Что ж, наконец-то «Сибиряка» взволновала его спортивная честь, а «Черномор» — будем откровенны — ослабил реакцию, уже привыкнув к легкому успеху. Ого, «Сибиряк» атакует, товарищи болельщики, атакует!

Тут среди прочего смеха Алеша услышал, совсем близко, смех Ланки. Он подскочил к окошку, отодвинул занавеску с ползающей на ней пчелой. На площадке между коттеджами Игорь Витальевич в красных шортах и без майки играл в бадминтон с очкастым парнем, который жил за стеной у Алеши, только вход с другой веранды.

И Ланка стояла возле теннисного зеленого стола, наблюдала за игрой. Белый, в кружевной юбочке волан взмыл вверх и повис парашютиком на сосне.

— Да-а, товарищи, — Игорь Витальевич задрал голову и погладил свой затылок, — этого, признаться, никто не предвидел. Но, согласитесь, какая настоящая игра не приносит сюрпризов? Итак, мяч не только за пределами поля, но и за пределами досягаемости. «Черномор» безуспешно, — Игорь Витальевич наклоняется за следующей партией еловых шишек, — пытается вернуть в эти пределы мяч.

Алеша натянул брюки, причесался и вышел на веранду.

Игорь Витальевич уже влез на сосну и теперь отцеплял волан.

— Цель достигнута, — торжественно провозгласил сверху, и в торжественность вплелись трагические нотки: — но ценой каких усилий! Команда «Черномор» исцарапана — вот что значит легкомысленно относиться к спортивной экипировке! Сейчас ей предстоит не менее трудный путь обратно, и в каком же виде она выйдет на поле?

Ланка смеялась, запрокидывая голову, и черные волосы ее лились по спине водопадом.

Алеша почувствовал, как тяжелеет неприязню к этому человеку, с которым так весело Ланке, и оттого стало еще больше не по себе: ведь этот человек, по сути, не знакомый еще, ему чем-то уже нравился.

Уже в сумерках, когда Алеша с соседом дядей Колей, отбиваясь от комаров, доигрывал на веранде партию в шашки — ни во что другое дядя Коля не умел, — мимо прошли Игорь Витальевич с Ланкой и Верой. Девчонки посмотрели в его сторону, но и только-то, а Игорь Витальевич в ромашковом венке о чем-то им рассказывал. Возле его коттеджа они остановились, и он — прямо бог Дионис! — снял венок, повертел в руках, потом подкинул небрежно, и венок ловко и послушно

лег на голову снова. Алеше стало противно: взрослый человек, почти пожилой, а заигрывает дешевыми приемчиками.

— Леха, смотри, не сверни шею.

— Сдаюсь,— сказал Алеша и дернулся встать.

— Сиди,— не пустил дядя Коля.— Без боя не сдаются, понял? Давай ходи.

А сам зажег свет, и полетела на лампочку ночная мошкара, зароилась вокруг, теряя всякие другие стремления — лишь бы биться у огня, пусть ненастоящего, парализованная им, покоренная, и спасение от этой бессмысленной пляски — только погасить свет...

Утром, с первым же катером, когда Алеша еще спал — а уснул он трудно и поздно, — приехал Юрка. Вообще, здорово бы вместе тут пожить, но Юрка — вот они, девчонки! — из-за Вали торчит все лето в городе. Зато он способен хоть чем-нибудь посторонним заниматься!

— Старик, а ты похудел, — удивился Юрка. — Столовка работает?

— Работает.

— В чем же дело? — Юрка нарочито задумался, поглаживая щеку. — И воздух, и лес, и ягода... Хм. Ты что, в брюках наглаженных здесь ходишь? Даже здесь? А трико?

— Да так как-то, — улыбнулся Алеша.

— Ну, все ясно, старик. Кто она? Покажешь? Эге, да ты совсем вобла — поссорились, что ли?

— Нет. Просто ничего не ясно еще.

— Выясним, — твердо пообещал Юрка. — Бери свой маг, и двигаем на берег. Ведь берег, насколько я догадываюсь, у вас главный прощепт?

— Да рано еще, вода холодная.

— Но и не сидеть же в этом склепе.

Случайно они попали на уху. Выходят, а навстречу — Игорь Витальевич в тельняшке и в штанах засученных, с удочками да ведерком топает.

— Алексей, в столовую не ходил?

— Нет.

— И не надо. Эго твой товарищ?

— Юрий, — представился Юрка сам.

— Игорь Витальевич. Так мы сейчас уху варить будем. Вы о хворосте позаботьтесь, а я рыбу пока распотрошу. Идет?

Алеша колебался. Этому человеку хотелось подчиняться, так прост и весел был он в обращении, но...

— И чернильниц позову, — добавил Игорь Витальевич. — У меня сегодня отгул!

— Кто такие чернильницы? — поинтересовался Юрка, когда они с Алешей одни остались.

— Девчонки. Две.

— И она?

— Да ну тебя.

— А, ну, тогда полный вперед. Из которой хоть школы? Не из нашей?

— Нет, из шестнадцатой.

— А он, рыбак-то?

— Не знаю. Кажется, в училище каком-то военное дело преподает.

Ланка, как обычно, явилась в своем черном трико с красно-белой полоской на отделке и в желтом сомбреро на распушенных волосах. Днем же, когда жарко, она совсем в одном купальнике разгуливает.

Вера, тоже, как и обычно, молчаливая сидела, ускользая глазами и скучная лицом. Две косицы, стянутые аптекарскими резиночками, торчали из-за ушей.

Юрка оценил обстановку верно и расположился возле Ланки.

Снова потрескивал костер, легкий, прозрачный на свету, он жадно вылизывал провисший на пруте большой закоптелый котелок, булькающий вовсю и пахучий.

— Люблю молодежь! — Игорь Витальевич сидел с наветренной стороны, особняком, жмурился от дыма, когда ветерок налегал на пламя.

— Да вы и сами еще молоды, — утешил Юрка. — Лет тридцать, наверное?

— С хвостиком, Юра, с хвостиком.

— А дети у вас есть? — неожиданно спросила Вера.

— Нету. Но — пока. Жена, понимаете, институт заканчивает.

Алеша видел, как сразу вскинула глаза Ланка, — дрогнула бровями.

— Почему же вы не с нею здесь? — спросила.

— Да ведь говорю: институт заканчивает. Дипломирует. А я ей стараюсь не мешать. Ну-ка братцы, подставляй посуду, пробуйте!

Мало-помалу серьезный разговор завязался, и Юрка взнуздal своего любимого конька — кибернетику, в которую в одну верил безгранично. Юрка даже прищипывал конька:

— Высчитав биоритмы конкретного человека, все его мозговые и физиологические данные, уже ведь просто рассчитать и все его наклонности, только заложить в ЭВМ программу!

— Ой, ой, ой! — схватился за голову Игорь Витальевич.

— Конечно, — высокомерно добавил Юрка, — во все века любая прогрессивная мысль казалась абсурдом: самая элементарная инерция косности. Но наука на месте стоять не будет.

— И ты ею займешься?

— И я ею займусь.

— Ну, тогда еще ничего, тогда — убеждение, а это уважения, несомненно, стоит. Только дело в том, братцы, что не так уж и новы все эти предсказания насчет программирования чувств. Вы читали книгу одного польского писателя, «Рукопись, найденная в Сарагосе» называется?

— Фильм, кажется, такой есть, — сказала Вера.

— А вы почитайте. Там один персонаж, геометр, считал, что при изучении человеческого сердца, как и вообще при всех наших расчетах, следует руководствоваться формулой бинома Ньютона. Вы, наверно,

еще не доучились до бинома Ньютона? Все равно. Кстати, тот геометр описан лет этак двести назад. Как вам нравится?

Юрка махнул рукой и сел, а то все подпрыгивал в своей лопушастой желтой рубаше возле Игоря Витальевича.

— А что скажешь ты, Алексей?

Алеша, может быть, и согласился бы раньше, но теперь сомневался, что, например, все с ним и в нем сейчас происходящее можно было бы не только объяснить словами, а и цифрами вычислить: дано, требуется доказать, доказано, ответ в конце задачника.

— Почему бы и нет? — вмешалась Ланка. — Например, искусство в будущем станет более декоративно или даже совсем только декоративно, а тогда в творчестве просто отпадет надобность — человека заменят машины.

— То есть как это: только декоративность? — Юрке почему-то не понравилась такая поддержка, хотя его недовольство явно противоречило всему его выступлению.

— Вообще, искусство должно доставлять эстетическое наслаждение, но вовсе не учить, не назидать, — Ланка тоже категорична.

— А что-нибудь для ума и сердца? — тихо спросила Вера.

— Браво, Вера! Бей их, программистов! Ишь, какие растут!

— Какие? — победно усмехнулся Юрка.

— Трезвые слишком, — серьезно ответил Игорь Витальевич.

— Разве это плохо?

— Да как знать. Раненько малость.

— Акселерация! — развел руками Юрка. — Феномен природы, — и врубил магнитофон. Маленькие кассеты завертелись, и тонкий, выше женского, голос потянул еще выше.

— Мужик, а визжит, — пренебрежительно отозвался Игорь Витальевич. — И долго он так будет?

— Вам и музыка наша не нравится! Но вы еще не старый человек, — удивился Юрка. — Разве это некрасиво?

— Но меня настораживает, да, ваша приверженность к ритмам и только ритмам.

Алеша помалкивал. При Ланке теперь все было трудно.

— Нечего сказать: девочка — нештук, — похвалил Юрка. — Но, сразу видно, бестия. И строит глазки Игорю, заметил?

Алеша пожал плечами.

— Ирка теперь повесится. То ей еще можно было рассчитывать, что твое свободное сердце склонится к ней, а тут така-ая девочка!

Они сидели на взгорке под сосной, напротив причала, ждали катера для Юрки.

По реке баржа тянула дымный шлейф.

— Дымовая завеса, — сказал Алеша.

— Ага. Прикрывают отступление. Поди, грязные все, как помазки.

Задирая нос, пронеслась красная моторка, и мощное стучание мотора слышно было еще долго.

— Раньше пятидесяти были, а сейчас и тридцати за человека не считают, — сказал Юрка.

— Ну,— подтвердил Алеша.

...Понизу, к лодочной станции, где покачивалась и синяя лодка Игоря Витальевича, шли он сам в своих красных шортах и Ланка в купальнике!

Он ей руку подал, потом оттолкнул лодку в воду и сам вскочил.

Мотор взревел.

Вырулили и унеслись по речным бегучим блесткам.

— Бросай, пока не поздно,— Юрка сплюнул.— И чем тебе Ирка нехороша?

— Высчитай,— усмехнулся Алеша, изо всех сил крепясь сдерживать прыгающие мускулы лица.

Юрка потихоньку выругался.

— Возвращайся в город, понял?

Город, вон он, за рекой под полуденным солнцем плавится — и не можно туда выехать, пока Ланка здесь.

— Имя какое-то чудное. Разве такое есть?

— Это от Светланы. Уменьшительное. Ей Светой быть не нравится: как все.

И еще раз, на другой день вечером, уносился синий катерок по бегучим речным блесткам, только вернулась Ланка хмурая. Может быть, из-за дождя? Вообще, весь июль не поймешь что: то холод, то жара, то ливни заливаемые надолго вроде бы — и нет, через полчаса, смотришь, вовсю солнце насвечивает. Капризы сплошные!

Капризничала и Ланка, но соображать, что к чему, Алеше было некогда. Не в состоянии он был соображать. Лишь бы избавиться от неопределенности!

Они много играли на спортплощадке в волейбол, Ланка тоже, и мячи от нее так красиво летели, что только и оставалось их обнимать. Поэтому из игры Алеша выбыл.

Солнце уже пряталось за лес, и верхушки сосен полыхали по-последнему жарко, и уже под ними таились прохладой, ожидали своего близкого часа густые тени, когда из города вернулся Игорь Витальевич. Но не один — с очень молодой светловолосой женщиной. Девушкой даже, может быть. Алеша теперь в отношении Игоря Витальевича во всякое худое поверил бы.

А еще — он твердо решил поговорить с ним. Как мужчина с мужчиной. О чем и сказал Вере. То есть в столовую он опоздал, думал, буфет, может быть, работает: обогнул дом — окошечко буфета на овраг выглядывало, и там, возле лестницы, Веру увидел. Сидела, сцепив руками тощие коленки в мальчиковых голубых джинсах. Она впервые, кажется, посмотрела прямо и даже пристально, и Алеша, как ни занят собою был, удивился все же Вериным глазам, темным и влажным, с ними сразу менялось лицо; впрочем, ненадолго — веки опустились, спрятав темный их свет.

— А с Игорем Витальевичем жена приехала,— сказала Вера.

— Точно жена? — обрадовался Алеша.

— Да. Галя.

— А я хочу с ним поговорить.

— Не надо,— отсоветовала Вера, словно бы знала, о чем он хочет поговорить.

— Почему не надо?

— Потому что ты ошибаешься.

— В чем... ошибаюсь? — запнулся Алеша, однако, уже верил, что впрямь ошибается, и готов был к радости.

Но Вера промолчала.

И тогда он спросил:

— Как, по-твоему, поступить моему другу...

— Юре? — подсказала Вера, поднимаясь с земли.

Трава вокруг и цветы, и березы-сестрички застлались под налетевшим ветром. Наползали тучи.

— Допустим,— уклончиво ответил он, а сердце билось так сильно.— И ему нравится девчонка, которой... ну, не известно, как она ему нравится.

— Ей обязательно известно,— возразила Вера.— Это всегда чувствуется.

— Правда? — теперь Алеша не знал, как доспросить. — Но может, она сомневается? Так, по-твоему, нужно ей сказать об этом?

— А мне показалось, Юра не из тех, кто сомневается.

— И все же. Если он не уверен в ее... ну, чувствах.

— Тогда пусть молчит. Но это — мое мнение.

Глаз больше так и не показала.

Из-за угла выглянул низенький мужчина с велосипедом.

— Вера! — окликнул.— Здравствуй, Вера, где мои, не знаешь?

Она отошла к нему, и Алеша слышал, как говорила, что жена того еще днем домой по делам уехала.

— Странно, весьма-таки странно,— пожимал плечами мужчина, растерянный и смешной всем своим затрапезным видом.

— А Света,— продолжала Вера,— где-нибудь здесь, не поискать ли вместе?

— Нет, нет, я тогда домой,— заторопился мужчина.

Наверное, от паромы жал, а вот успеет ли до дождя обратно? До паромы по берегу километров пять.

Дождь в лесу начинается тихо, словно скачет издалека-далёка конница. Но топот конских копыт, переросший в гул, нарастает еще — и вот живая лавина обрушилась, уже не скрыться зеленому братству от стремительных сабель победно гарцующей конницы. И чье-то близкое стремя вызвонило призывно — нет, то мокрое, залитое всплошную стекло отозвалось под быстрыми пальцами.

Алеша отложил книгу и выглянул на веранду. В голубом прозрачном дождевике Ланка стояла на ступеньках!

— Лешенька, составь компанию, а? Скучно одной.

— Так это у тебя мать по делам уехала? — спросил лишь бы что-нибудь сказать Алеша, поглупев от неожиданности.

— По делам,— скривила губы Ланка.— Ну, так что?

— Да, да, я сейчас! — Он кинулся за плащом, потом, уже со ступенек, вернулся запереть на ключ комнату.

— Мне шерсть размотать нужно, — сказала Ланка. — Садись вот сюда, будешь моток держать вот так, — и посмотрела: — А ты не против?

— Нет, нет, совсем даже не против!

Но, хотя Алеша и не намок, пока они бежали, и не холодно вроде ему было, его знобило, и руки, растянувшие моток малиновой шерсти, плясали. Это было очень неприятно, но совершенно необоримо. Внутри все дрожало, а говорить — в-а-ва! — было попросту страшно.

— Ну-у-у, — протянула Ланка. — Ладно, потом, — и сняла моток. — Ты расслабься, сразу станет теплее.

Расслабиться оказалось невозможно. Это ж надо — так опозориться!

— Сейчас создам иллюзию костра, и ты согреешься, — Ланка со стола переместила под кровать, на которой сидел Алеша, ночной фонарь, а верхний свет голый лампочки погасила. В комнате сразу стало темно, лишь фонарь из-под койки тускло высветил и угол этот, и блестящие Ланкины глаза, такие близкие.

— Пожалей меня, — попросила жалобно, не поднимаясь с корточек. — Мне так плохо.

— Почему плохо? — тупо спросил Алеша.

Ланка ткнулась лицом в одеяло возле его колен, рассыпала волосы.

Алеша медленно протянул руку и коснулся этих волос...

А ливень в темноте ранней ночи в самом деле гудел, как гигантский костер — конница умчалась, оставив за собою пожар, но его Алеша не видел из-за Ланкиных черных волос, лишь один закатившийся уголек — фонарь под кроватью — розовато и сонно подсвечивал им в этой для Алеши нереальности, в этой для него невозможности.

Каждому знакомо в жизни такое состояние, когда часы пролетают секундами, а минуты вмещают в себя часы. Алеша об этом узнал впервые.

А Ланка сматывала уже в клубок с его одеревенелых пальцев нелепую шерсть, будто ничего такого и не было, и говорила о том, как она несчастна. Несчастлива?! В такой вечер!

Алеша слушал и не слышал, хотя тоже вставлял какие-то неторопливые слова, спрашивал о чем-то. И в этой неторопливости слов и шевелений руками — вдруг перепады сердца, вдруг — ожидание чего-то снова необыкновенного, хотя и то, что сейчас происходило с ним, уже необыкновенно было: это вот таинственное состояние раздвоенности, когда слушаешь и не слышишь, когда видишь и не веришь. Может быть, даже — раздесатерение. Может быть, даже совсем не с ним все это происходит! И не Ланкины горячие губы возле его губ, и не его руки на жестких ее волосах?

— Иди, — подталкивает его к двери, уже отомкнутой, а сама удерживает, и какая-то твердая штуковина, висящая на стене, больно вжимается в Алешин бок. — Ты хороший, — говорят Ланка. — Иди, а дождь я заговорю.

Дождь она не заговорила.

Зато чистенькое, умытое утро пришло с солнцем, и на голубом небе лишь кое-где белели упругие облака — застывшие дымки, остатки ночного костра.

И жизнь была великолепна.

Правда, Ланка держалась так, словно ничего такого и не произошло, но мало ли почему. Стойкая радость возвратилась к своему хозяину и сделала его на целых два дня легким, деятельным, остроумным. Мама с папой, прибывшие на субботу и воскресенье, остались довольны.

Ланка благосклонно улыбалась, однако на фильм, который прокручивали в соседнем доме отдыха, почему-то отказалась пойти. Но купались вместе. А Вера только загорала, совсем спрятавшись за круглыми черными очками.

Издали помахал им Игорь Витальевич, когда спустился к реке со своей светловолосой спутницей.

— Будто насыпан под носом перец: идет и не дышит. Така-ая важность! — проговорила Ланка.

— Ты несправедлива, — тихо возразила Вера. — Очень милая женщина, а улыбается как хорошо. Правда, Алеша?

— Да, — согласился он и умолк, наколовшись на Ланкин взгляд, быстрый и чужой.

Потом Вера ушла, и Ланка сказала раздраженно:

— Корчит из себя недотрогу! Цветы не может рвать, странности всякие... А вся и причина, что в тебя влюбилась. Да, да, Алешенька, а ты вот мимо смотришь. Какой пассаж!

И побежала к воде.

Зачем сказала? И чем недовольна? Вообще-то он мог бы и догадаться, да не хотелось. Потому что вчера она сказала горячими губами: «Ты хороший», и при этом воспоминании, а оно все возвращалось и возвращалось, сердце, трепыхнувшись, вдруг — все теперь вдруг! — взрывало тревожно и приятно. А все она, Ланка. И ослепительное свечение березовых стволов на поляне перед коттеджем, и просыпавшийся внезапно дождь пополам с солнцем, которое так весело вколачивалось в землю стеклянными пвездиками, и закатный пожар в вершинах прямых, негнущихся сосен — все это она, Ланка. И все это — почти стихотворение: горели сосны на закате, отвесно падали дожди...

Слово «дожди» сразу рифмовалось со словом «жди», но, поскольку стихами Алеше ни увлекаться, ни тем более заниматься не приходилось, а две строчки эти он просто случайно подобрал на дороге — шел, шел и наткнулся, — дальше ничего не придумалось, хотя, конечно, было бы здорово — сочинить стихи для Ланки. Или что-нибудь другое выдающееся сделать.

В понедельник Игорь Витальевич вечером не приехал, и Ланка допоздна отстучала под его окном в теннис с кем придется. Алеша в теннис хорошо играл, поэтому в игре участия не принял: боялся победы над Ланкой.

Потом провожал ее. Шла, пиная кедами шишки,

— Хочешь, покажу фокус? — спросила,

— Покажи.

— Есть носовой платок? Подними его перед собой, вот так. Теперь согни с угла на угол и еще раз согни. Так. А теперь помаше им и скажи «до свиданья».

Секунду Алеша стоял, не вник еще, как по-дурачки его разыграли, потом скомкал платок и резко повернулся.

Ланка смотрела ему вслед сощуренными злыми глазами.

Конечно, можно было не обидеться так глубоко, хотя шутка и слишком примитивна, но все же — шутка, можно было, да. Если бы не крылось за нею гораздо большее, чем просто желание пошутить.

Ланку он теперь избегал. Надевал джинсы и уходил в лес. Страдал.

— Не понимаю, что уж такого военного я ему сделала? — подергала она плечами, когда в столовой он не принял ее улыбчивого приглашения присоединиться к ним с Верой за стол.

Игорь Витальевич появился, да появился ненадолго — лишь для того, чтобы сдать постельные принадлежности коменданту, хотя сезон еще не вышел.

— Счастливо оставаться, — пожелал Алеше и подмигнул: — Нам мало, но мы в тельняшках.

Алеша не понял, но сказано было очень дружелюбно. Он оглянулся — из-под сенокоса, которым спускались на берег, только белела кепка Игоря Витальевича. И еще он увидел, как бежит сбоку, со стороны спортплощадки, Ланка, придерживая на голове свое сомбреро. И видел как шла она обратно, с берега, глядя себе под ноги, а Вера сказала, что Ланка плачет. Она и в самом деле не показалась утром ни в столовой, ни на реке.

Алеша уже немножко освоился с собою новым, поэтому, не имея такой власти изменить что-либо в создавшемся положении, уже мог, однако, руководить хотя бы поведением своим, внешностью. Это ж так понятно: когда в тебе не нуждаются, и на глаза вылезать нечего! Вера права.

Но Ланка горевала не на шутку, и вместо мстительного чувства удовлетворения, которого он желал бы в себе, Алеша мучился жалостью. Точнее, такое чувство — так тебе и надо, дескать — может быть, и шевелилось в угоду неоправданным надеждам и униженному самолюбию, но обида за Ланку все-таки пересиливала. Он-то ведь сам ознакомился со всеми этими муками безответности, знает, как огромны они и все постороннее подминают, а потому — могут искупить собою любые обиды. И об Ирке, своей однокласснице, он вспоминал уже без раздражения — ей можно было посочувствовать.

Вообще, все теперь воспринималось острее и чутче. То — калейдоскоп мимолетностей, и всего лишь несколько дней назад, а то — будто замедленно снятое камерой сознания и чувств то же самое. Нужно было привыкать заново; отныне Ланка потеряна, это уж точно.

Первый день после скоропостижного — и это было особенно подозрительным! — отъезда Игоря Витальевича Алеша переживал погоду. Вот противная! Мокли и мокли деревья, мок привалившийся к стене

Алешиного дома низкий шахматный столик в огромную клетку — так никто и не брал его почему-то, только дождь один играл на нем: азартно, беспорядочно, вприпрыжку.

На второй день сытые тучи снова погуливали по небу, но пока медлили нападать, и Алеша отправился в город. Наблюдал, как дождь подступал боком, завесой, и полоса светло-серая, почти белая все расширялась на воде навстречу пыхающему теплому катеру. Но катер успел причалить, успел и автобус увильнуть от дождя, захватившего на этот раз только реку и лес.

Справочная выдала Алеше номер домашнего телефона Игоря Витальевича, а спрашивал он наобум, зная лишь фамилию, мельком от Ланки слышанную, и ее-то едва вспомнил. Домой, чтобы позвонить, не зашел, опасаясь застать кого-нибудь из родителей. Позвонил из таксофона.

Трубку сняли неожиданно быстро, и на вопрос «кто там?» замешкавшийся Алеша хрипло ответил:

— Я. Алексей.

— А! — прямо даже обрадовался, гляди-кось, Игорь Витальевич. — Здравствуй, Алексей.

— Здравствуйте. Мне надо с вами поговорить.

На том конце провода молчали. Алеша ждал.

— Видишь ли, через сорок минут я должен уйти, но мы, конечно, поговорим. Сорок минут тебя устраивают?

— Да.

— Тогда — где?

— Я на улице Леонова, возле кафе.

— Это далеко от меня. Давай, чтобы сэкономить время, сойдемся посередине: в «треугольнике» на площади Советов?

— Хорошо, — Алеша повесил трубку.

В «треугольнике» — небольшом сквере без ограды, разбитом прямо на развилке трех шоссе, — они сошлись.

Не было на Игоре Витальевиче ни тельняшки, ни кепочки белой — даже непривычен такой праздничный Алеше, только лицо загорелое то же да крутая ямка на подбородке. Подал Алеше руку. Алеша поколебался и руку принял.

Сели на узенькую скамью. Оставалось полчаса. Все приготовленные Алешей слова оказались вдруг либо не теми, либо слишком обнаженными. Игорь Витальевич не торопил. И дождался.

— Чем вы обидели Лану? — Алеша сидел прямо, перекручивая жгутом болоньевый плащ.

— Ничем, — серьезно ответил Игорь Витальевич. — А что такое?

— Она плачет. Почему вы так срочно уехали?

— Я бы мог не отвечать тебе, но, поскольку ты лицо заинтересованное, я отвечаю. Уехал, потому что, если бы остался, еще хуже получилось.

— Почему?

— Ну, не знаю, как и объяснить.

— Как есть.

Алеша не только неловкость вмешательства в личные дела посторонних людей чувствовал, а даже и какое-то неосознанное еще право свое на это, и, странное дело, Игорь Витальевич признавал за ним такое право, если согласился на разговор! Или струсил?

— Видишь ли, когда ненужные отношения затягиваются, возникает привычка.

— Для кого ненужные? У кого привычка?

— Для нас обоих ненужные, а она привыкла бы.

— А если она... любит вас?

— Вот уж нет, и слава богу! — довольно искренно воскликнул Игорь Витальевич. — Она сама не знает, чего хотят ее шестнадцать лет. Впрочем, одно желание вполне определенное — нравиться, влюблять. «Чернильницей» ей быть никак не хочется! Ну, все естественно.

— А если все же...?

— Если? Но чем же я помогу? Это дело такое, что жалости не терпит.

— Как это? — отрывисто спрашивал Алеша.

— А так: не из жалости же мне идти на какие-то уступки. Да и зачем, сообрази? Дичь какая-то. Но я сказал: слава богу. Так оно и есть — любовь хотя и проявляется по-разному, а все же у Ланки нашей другое. Пройдет, и скоро.

Самое мучительное в этом разговоре было то, что приходилось поминать такие слова, как «любит», «любовь», — такие слова, которые не должны произноситься вслух.

— Зачем же вы катали ее?

— И что? Не ее одну катал. Потом, и тебя, братец, мне позлить хотелось.

Алеша повернул голову.

— Да, да, тебя. Думаешь, не видно ничего?

Алеша отвернулся и покраснел медленно, но основательно.

— Ланка не из тех, которые увлекаются покорными, понял? А вот чтобы ею не увлекались, она не потерпит, — одобрительно засмеялся Игорь Витальевич. — Так что не вянь. Нас мало, но мы в тельняшках, запомни, — и посмотрел на часы.

Алеша тоже посмотрел на свои: оставалось семь минут. Он начал, ему надо и заканчивать. Надо, а не хотелось.

— Ты хоть знаешь, что в мире делается?

— Нет, — растерялся Алеша. — А что в нем делается?

— Все! — улыбнулся Игорь Витальевич. — Не забудь газеты купить.

— Да мы выписываем.

— Тем лучше. Видишь, какая она, Ланка эта. Между прочим, в более зрелом возрасте нравятся больше уже не Ланки, а Веры. С ними, правда, не забудешь обо всем на свете, зато все поймут, все сумеют: и уверенности в себе прибавят тебе, и разочаровываться в хорошем не дозволит. Они-то знают, какая это ответственность — быть для кого-то первой или первым... Но, — улыбнулся снова, — сначала, конечно, Ланки!

За деревьями трещали мимо мотоциклы, шуршали автомобили, отдувались, притормаживая на круглом повороте, тяжелые МАЗы. Рабочий день.

— А ты позванивай,— сказал Игорь Витальевич.— Встретимся еще. И Юрию привет. Энергичный товарищ! Я-то, скажу тебе, беспокоился: какие вы теперь, обо всем-то знаете, а рыбалкой, например, не интересуетесь, бездуховную музыку любите. Но вот пришел ты сегодня — и мне спокойнее.

Как ни медли, а пора. Алеша поднялся.

— Пойду. Извините.

— Ничего, все в порядке,— подмигнул Игорь Витальевич. Подмигивал он всегда не хитро вовсе, а как-то подбадривающе.

Алеша пошагал через перекресток, на другой стороне шоссе оглянулся: Игорь Витальевич стоял там, видел его. Алеша взмахнул свернутым плащом.

Все было в порядке. И Ланка рассердилась, когда на ее приветствие Алеша ответил почти равнодушно:

— Здравствуй, Света.

*Горели сосны на закате.
Отвесно падали дожди*

г. ЮРГА

из литературного „архива“

Французский писатель Франсуа Рабле, автор книги о Гаргантюа и Пантагрюэле, оставил следующее завещание: «У меня ничего нет. Я должен много. Остальное я завещаю бедным».

* * *

Песня «Славное море, священный Байкал» написана в 1848 году сибирским поэтом и ученым Д. П. Давы-

довым, племянником известного героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова.

* * *

Французская академия 297 лет трудилась над составлением «Грамматики Французской академии». Когда же, наконец, в 1932 году книга увидела свет, к конфузу издателей в ней было обнаружено 50 ошибок.



незабудки

Врачуют лес у нас в округе.
Слетелись в наши сосняки
И леспромхозники-хирурги,
И терапевты-лесники.
Корчуют пни, ведут посадки,
А полдесятка егерей
Заводят новые порядки
По части выживших зверей...
И вот уже который день я
Живу в эпохе Возрожденья,
Не мну травы, цветов не рву —
Порядок вижу наяву!..
А мой сосед заправил «Волгу»
И в город выехал надолго:
«До первых чисел октября,
Когда уедут егеря...»

Зимний вечер. Лунный вечер.
Желтый свет в твоём окне.
Красным ободом освечен
Снежный призрак на сосне.
Чёрный пес у чёрной будки.
Дым лиловый над трубой...
Здесь когда-то незабудки
Собирали мы с тобой.
Под окном цвела калина,
Вился дятел по сосне,
И щенок на лапках львиных
Выбежал навстречу мне...
Позабылись незабудки,
Облетел с калины цвет...
Чёрный пес из чёрной будки
Звонко лает мне вослед.



Опять над спящею деревней
Горит высокая звезда,
Опять всю ночь шумят деревья
И пахнет клевером вода.
Опять всю ночь, неуловимый,
Скрипит в низине коростель,
И слышен шелест крыл совиных.
Неразличимых в темноте...
Опять в твоём просторном доме
Окно распахнуто к реке.
Твои прохладные ладони
Уснули на моей руке.

г. НОВОКУЗНЕЦК

ПЛАТОК ДЛЯ ШАТЕРИ

РАССКАЗ

Они сидели молча друг против друга. Мужчина упорно смотрел в пол перед собой. Женщина не сводила покрасневших глаз с залепленного снегом окна, сквозь которое с трудом пробивался скупой свет мартовского утра.

Вчера они похоронили мать.

Эта комнатка в старом доме и вещи в ней — кровать под пикейным покрывалом, горбатый комод, потускневшее зеркало, этажерка, стол, три венских стула — принадлежали матери. Принадлежали. Теперь и комнатка, и вещи — ничьи.

Мужчина поднялся, подошел к комоду. Повертел в руках фарфоровую собачонку с отбитой лапой. Взглянул на будильник. Неподвижные стрелки показывали половину шестого. Половина шестого — так было и вчера, когда выносили тело, и позавчера, когда оно лежало на этом столе. Все половина шестого.

В последний раз часы заводила мать. Сама, своею рукою. Возможно, незадолго до смерти. Ее не было в живых, а часы шли. Потом стали и они. Кончился завод.

Мать умерла от кровоизлияния в мозг. О такой смерти говорят — скоропостижная. Скоропостижная? Да полно, так ли это?

Мужчина помнит себя мальчишкой, когда в обиход их семьи впервые вошло слово «гипертония». Произнес его пожилой врач, снимая резиновый жгут с руки матери. Помнится, он просил их поменьше шуметь, быть внимательными к ней, не волновать...

Не волновать...

Всего два года прошло, как кончилась война, и год, как умер отец. Открылась рана, спасти отца не удалось. Мать работала писмонощицей. С утра до ночи таскала на себе тяжелую сумку по разбитым и кривым улочкам слободы, стучала в заложенные ставнями окна, отбивалась от собак. Домой возвращалась поздно, измученная, грязная. Но, просыпаясь среди ночи, он не раз видел в свете керосиновой лампы ее голову, склоненную над шитьем...

Мужчина взял будильник. Скрипнул ключ завода. Будильник деловито затикал — бросился догонять ушедшее время.

Женщина отвернулась от окна и теперь следила за братом. Их взгляды встретились, и он сказал, лишь бы что-то сказать:

— Ты изменилась...

— Постарела?

Мужчина неопределенно пожал плечами. Помолчали. Слабая улыбка тронула губы женщины:

— Узнаешь? — она кивнула на комод.

— Угу...

— Глянь, там сбоку человечек... Нацарапан гвоздем. Царапал ты, а попало мне — старшая...

Мужчина приподнял угол вязаной скатерти, человечек исчез — выкрошилась фанера.

— Ты когда улетаешь? — Он бережно расправил ветхое кружево скатерти.

— Сегодня.

— Может, заедешь к нам?

— Нет, что ты! У меня же билет... И потом — пересадка в Москве... Такая морока...

— Далеко же ты забралась...

— Что поделаешь — так вышло.

Он спросил ее о здоровье мужа и дочери. Она ответила и в свою очередь спросила его о семье и работе. И он ответил. Так они говорили некоторое время, почти не слушая друг друга и тут же забывая, о чем шла речь. Скомкав этот необязательный разговор, опять надолго ушли в себя.

Тяжелыми мазками лепился на оконное стекло мокрый снег. Весело тархтел оживший будильник. Мужчина сосредоточенно мерил шагами комнату. От окна к двери, от двери к окну — пять шагов туда, пять — обратно. Женщина, пригорюнившись, все так же сидела возле стола.

— Ты-то... ты! — жалобно заговорила она. — Ведь совсем близко! Курск — вот он, одни сутки пути... Не то что Красноярск. Я даже в отпуск не могла вырваться...

Мужчина промолчал и продолжал ходить, стараясь, чтобы не скрипнула половица. Женщина всхлипнула и полезла в сумочку за платком. Мужчина поморщился.

— Я денег дал... той, что хлопотала, — сказал он первое, что пришло на ум. — Как ее?.. Вера Игнатьевна?

— Зачем? — женщина отложила сумочку. — С какой стати?

— Пусть девять дней справят. И сорок... Помянут, как это водится у них, у старух...

— Я тебя не понимаю. Ведь мама... мама... никогда не была религиозной.

— Ну и что? — мужчина почувствовал, что раздражается. — При чем тут религия? Дал — и все...

Он остановился возле комода. В зеркале смутно, как сквозь кисею, проглянуло немолодое хмурое лицо. Мужчина машинально провел рукой по стеклу, взглянул на пальцы. Чистые. И вообще кругом порядок и чистота, почти стерильная. Так любила мать. И соседки, точно выполняя ее наказ, все вымыли, перетерли... А зачем? Кому это теперь нуж-

но? Они с сестрой могут пробить здесь до вечера. И даже остаться на ночь. Но рано или поздно они уйдут. И тогда явятся чужие люди.

Чужие люди... Вот оно, то самое, что занозой засело в сердце, что удерживает их в этой маленькой комнатушке.

Нельзя же уйти, бросить все так, как есть, как было при ней. Надо что-то делать. Но оба, понимая неотвратимость этих действий, все же медлят, не решаются разрушить порядок, который свято соблюдался многие годы. Каждая вещь, каждая мелочь знала здесь свое место, прижилась к нему. Она была под рукой у хозяйки, чувствовала себя необходимой. Теперь хозяйки нет. Люди это знают, поняли. А вот вещи, ее вещи, не хотят понять, не умеют. Они все еще продолжают жить так же, как жили при ней. Они как будто ждут...

И мужчина решил:

— Ну так как же, Женья?

— Подожди... Бога ради... Я... — и женщина опять заплакала.

Он с досадой подумал, что все эти дни его сестра слишком много и легко плачет. Похоже, что слезы стали для нее своеобразной защитой и она прячется за ними и от беды, и от решительного шага. Ну что ж, ее дело. И он, помедлив, выдвинул верхний ящик комода.

Катушки, пуговицы, какие-то пряжечки, булавки, кусочки кружева, моток цветной тесьмы — обычные мелочи, без которых не обходится ни одна женщина. Клубок бежевой шерсти и на спицах начатое вязание. Носовые платки, перчатки, белый шарфик. В полиэтиленовом пакете два беретика. Один серый — шерстяной. Второй белый, вязаный, из крученых ниток. Мужчина брал в руки то одну, то другую вещь и, не придумав, что делать со всем этим, опять клал на прежнее место.

В другом ящике находилось постельное белье. Едва тронув его, мужчина уловил знакомый и забытый запах. Чабрец. Чобор, как называла его мать. Она любила класть в белье эту невидную пахучую травку. Сладко спалось, бывало, особенно после купанья, в прохладных простынях, хранящих запахи летнего отцветающего луга.

Женщина тоненько всхлипнула.

— Женья, ну право... Возьми себя в руки...

Ему было странно так говорить с сестрой. Странно и потому, что отвык, и потому, что никогда прежде, как он помнит себя, ему не приходилось говорить с нею в таком тоне. Он рос младшим в семье, а Женька всегда представляла из себя сильную сторону. Командовала она не только им, но и матерью. Пыталась, по крайней мере. Теперь же, когда после стольких лет разлуки их свело вместе общее горе, она как-то сразу поступилась своим правом старшинства.

— Я ничего... Я сейчас... — Женщина высморкалась, свернула платок, щелкнул замок сумочки. — Скажи, а что ты там ищешь? Уж не думаешь ли ты найти какие-нибудь ценности?

— Вот именно — думаю! — не желая того, он ответил слишком резко и более мягким тоном пояснил. — У каждого человека есть свои ценности, Женья. То, что для него дорого. И у матери наверняка. Фотокарточки, письма, еще что, почему я знаю.. Одним словом, то, что не предназначено для посторонних глаз.

Ценности! Скажет тоже! — в нем опять шевельнулось раздражение против сестры. Он, кажется, слишком сильно дернул на себя нижний ящик. Тот вывалился на пол, едва не придавив ему пальцы ног.

— Бог мой, Коля! Нельзя ли потише? — лицо женщины страдальчески сморщилось.

Но мужчина не слышал ее. Ночная сорочка в розовый горошек, лифчики, батистовая блузка, клетчатый халатик из ситца — все дешевенькое, далеко не новое, однако чистоты идеальной и тщательно отглаженное предстало перед ним в такой трогательной обнаженности и беззащитности, что у него больно сдавило сердце.

Нет, это свыше всяких сил. Все равно, что хоронить заново. Ничуть не легче. Он поднял ящик, поставил на место и вытащил из кармана сигареты.

— Я выйду в коридор, покурю...

— Кури здесь, — поспешила ответить женщина. — И мне дай сигарету.

Вон что! Она, оказывается, курит. Мужчина молча протянул женщине пачку. Она вытянула сигарету, долго разминала ее в пальцах, а, закурив, затянулась всего раз или два и сразу же загасила.

— Ладно, — встала, оправила платье. — Так что я должна делать?

— Разберись в комодке, что к чему. Там ведь все женское. А я посмотрю на этажерке.

Книг у матери было немного, все старые, он помнил их с детских лет и сейчас, перелистывая, встречал на полях следы своей бывлой деятельности: абстрактные каракули, домики с кривыми трубами, самолеты, падающие в густых клубах фиолетово-чернильного дыма. Наверное, ему крепко влетало за его художества, но этого он не помнит. А вот то чувство острого наслаждения, которое он испытывал, выводя на шелковистой бумаге свои загогулины, со всей живостью пробудилось в памяти.

Сытинское издание Пушкина, «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого, сочинения Надсона...

Мужчина наугад раскрыл томик Пушкина...

«И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать...»

Вот и она так же... Ведь сколько раз и сын, и дочь звали ее к себе. Приедет, поживет с недельку — и опять сюда, в свою одинокую комнатушку, в свой «милый предел».

Среди книг он обнаружил две со штампом городской библиотеки: «Моряк в седле» Стоуна из серии «Жизнь замечательных людей» и «Дело, которому ты служишь» Юрия Германа. В романе Германа на 247-й странице лежала узкая полоска бумаги. Не дочитала. Не успела. Обе книги он положил на стол — надо попросить соседку сдать их в библиотеку.

Под книгами на полке оказалось несколько пластинок: старинные

русские романсы, «Времена года» Чайковского, «Болеро» Равеля. Бумажные пакеты пожелтели, но сами диски совершенно новые, неигранные, как будто только что из магазина.

Мужчина обвел глазами комнату и не увидел ни радиолы, ни хотя бы плохонького проигрывателя. Неигранные? Да потому и не игранные, что не на чем было играть. Зачем же тогда она покупала их, берегла?

— У тебя, кажется, Лариса учится в музыкальной? Возьми вот для нее память о бабушке...

— Что там? — женщина, перебиравшая белье, на минуту оторвалась от своего дела.

Мужчина протянул ей пластинки. Она, не глядя, положила их на край стола.

— Пойду, отдам это соседке. — Женщина взяла стопу белья и пошла к двери.

— Не надо, Женя.

— Почему? Они люди небогатые, пригодится.

— Напрасно, обидишь...

— Ну вот еще!

Вернулась, и с бельем.

— Никого нет дома.

«Вот и хорошо», — с облегчением подумал мужчина. Было совестно и обидно за мать, если бы соседка отказалась принять эти изношенные, не имеющие ни малейшей ценности вещи.

— И что это за жизнь? — женщина скорбно сжала губы. — Живет человек, к чему-то стремится, чего-то ждет... А потом что? Ничего. Пустота. И мать... Все, чего она достигла, — закуток с надписью «Выдача корреспонденции до востребования». Неужели она не могла ничего больше? Скажи, разве для этого родится на свет человек?

«Разве для этого родится на свет человек?» А для чего он родится? Кто это знает?

Мужчина молчал, ему нечего было ответить сестре. Все эти дни его самого не оставляла мысль о том, что жизнь матери оказалась скудной и малозначимой. И эта мысль, обостряя боль утраты, делала ее почти непереносимой.

— Коля, — женщина тяжело, с зевотой вздохнула. — Сердце что-то давит. Пожалуйста, принеси воды. Я выпью валерианки.

— Иду. А тебе... Может, ты пока приляжешь?

— Нет-нет! Что ты! — женщина непроизвольно отшатнулась от тщательно заправленной материнской кровати. — Я здесь посижу, — и она опять заняла свое место у стола.

Кухня в доме была общей для всего этажа, на четыре квартиры. Мужчина боялся встретить соседей, не хотел расспросов, соболезнований. Но на кухне, к счастью, никого не оказалось. Он налил из крана воды и вернулся в комнату.

— Скоро конец. Крепись, Женя. Осталось немного. Еще тумбочка...

— А у меня какая-то коробочка. Но что со всем этим делать? С собой ведь не заберешь. Да и зачем, правда?

— Правда.

— Вот мне и лучше. Давай скорее покончим...

Мужчина опустил на корточки и открыл дверцу тумбочки. Женщина склонилась над его плечом. Первое, что бросилось им в глаза, был старый ученический ранец...

Большая стрелка на будильнике уже подобралась к цифре двенадцать. Снегопад прекратился. Ветер разогнал хмарь, и солнце с весенней щедростью окрасило комнату в золотистые тона, придавая ей неуместно праздничный вид.

Мужчина и женщина сидели у стола. Перед ними грудой лежали старые бумаги, письма, фотокарточки. Женщина протянула брату поблекший от времени снимок:

— Всю жизнь мне от тебя доставалось...

Со старой базарной «пятиминутки» на него испуганно глянула девчонка с челкой до бровей. Она едва удерживала на коленях вырывающегося пацана лет четырех.

Девушка с валиком волос надо лбом, в жакете с приподнятыми прямыми плечами — такой Женя уезжала учиться в институт. Темноглазый парень в вельветовой куртке на молнии — это он сам перед армией.

Внуки... Его сыновья — близнецы на коленях у молодой улыбающейся Антонины. Женкина Лариса — в белом фартучке с букетом георгинов на пороге школы.

Еще один снимок — синевато-коричневый кусочек картона, внизу палитра с кистью и золотое тиснение: «Художественная фотография М. И. Румянцева». На снимке двое — мужчина и женщина, пышноволосяная красавица в высоких ботинках, обтягивающих почти до колен стройные ноги, и лихой молодец с гусарскими усами, в косоворотке, подвязанной крученым пояском. Мать и отец.

Долго всматривался мужчина в их незнакомые молодые лица, в напряженно замершие тела. Мать, видимо, хотела поднять руку, чтобы поправить выпавшую из прически прядь, рука дрогнула и замерла чуть на отлете, схваченная объективом; отец подался вперед и непроизвольно сжал пальцы. Неподвижность последнего мгновенья. Единый миг, вырванный из бесконечного потока времени. Мужчина прикрыл глаза, на мновение почувствовав легкое головокружение, как человек, заглянувший в бездонную пропасть. Кто ты такой, человек? Что ты есть на земле? Малая букашка — однодневка перед бесстрастным ликом вечности.

— Господи, Коля... — В руках женщины дрожит листок с полустершимися карандашными строчками. Фронтовое письмо отца. — Пишет, целый день шли, месили грязь, устали, к вечеру выдали им сухой паек, они завернули в какой-то домишко передохнуть, выпить чаю. А тут, как назло, воздушная тревога. Хозяйка испугалась, вскинулась было бежать в подвал... — Женщина засмеялась сквозь слезы. — Слушай, что он пишет: «А наш комзвода: — Под землю мы всегда успеем, давайте вначале попьем чайку, а то вдруг в сахар упадет бомба... Обидно будет». Вот такой он и был, отец, любил, чтобы весело. А через час его ранило. —

Женщина помолчала.— Коля, я возьму это письмо, а ты те, другие, там он много про тебя пишет? А?

— Возьми, конечно.

— А вот эти куда? — она пододвинула к нему пачку конвертов.

Он узнал на них свой почерк, почерк жены. Антонина писала свекрови чаще, чем родной сын. Она видела в этом свой долг и честно его выполняла. Письма из Красноярска, от дочери. Мужчина брал конверт за конвертом и разрывал их, не читая. Зачем? Они все как капли воды похожи одно на другое: «Здравствуй, мама! Мы все живы, здоровы. Ребята учатся. Мы работаем. Совсем замотались, почти нет свободного времени. Береги себя. Пиши...» Дежурные, малозначащие слова.

Мужчина смахнул в газету обрывки писем и отнес в мусорное ведро на кухню.

— Чудачка все-таки была мама, — женщина листает толстую в темном картонном переплете книгу. — Скажи на милость, зачем ей учебник хирургии?

Это был действительно учебник хирургии, очень старый учебник, отпечатанный на рыхлой шершавой бумаге. Внизу на титульном листе значился год издания 1933. Явно, учебником пользовались: в первой главе отчеркнуты абзацы, кружком обведены параграфы.

— Где это было?

— Вот, — женщина показала старую пожелтевшую газету.

— А больше там нет ничего?

— Тетрадка какая-то...

Мужчина узнал угловатый молодой почерк, время его почти не изменило. Тетрадь едва начата: описание клетки, ее строение, рисунок от руки — неправильный овал, стрелочки-указатели: оболочка, ядро, протоплазма...

Женщина забрала тетрадь, полистала.

— Все ясно, — изрекла она наконец.

— Что ясно? — спросил мужчина.

— Мать начинала учиться. Не на врача, конечно, — на фельдшера. Но и это по тем временам... А тут родился ты. Посмотри, книга тридцать третьего года, ты же родился в тридцать четвертом. Так ведь?

— Так. Ну и что? — насторожился мужчина.

— Как что? Ты родился, и она была вынуждена бросить учебу. Разве не понятно?

— Тебе всегда все понятно, — обиделся мужчина. — Пусть я родился. Пусть так. Но была жива бабушка... А ты сама лучше вспомни... — Он уже начал горячиться. — Мать не раз говорила: в четыре года ты сильно болела и она долго лежала с тобой в больнице.

— Ну почему я? — возмутилась женщина. — Я была уже большая, а ты только что родился.

И она стала приводить несокрушимые доводы в свою защиту. И мужчина лихорадочно выискивал в памяти случайно оброненное кем-то слово, случаи и события далекого детства, показывающие, что рос он спокойным, покладистым ребенком и никогда не требовал к себе особого внимания. А вот она, Женька...

— Ах, так значит я... Выходит, я одна во всем виновата? Я детства не видела — с тобой нянчилась, а ты... ты... — и она разрыдалась.

Он наливал на кухне воду в стакан и думал со стыдом, какая в сущности нелепость — их спор. Разве теперь может иметь хоть какое-нибудь значение, из-за кого сорок лет назад оставила мать свою учебу?

И женщина, отпив глоток воды, подняла на брата заплаканные глаза:

— О чем мы спорим? Ведь мы были детьми, и мы ни в чем не виноваты. Ведь правда же, мы не виноваты, что так все вышло?

Женщина ждала, что брат поддержит ее.

И он сказал: — Да, конечно, не виноваты, — потому что это были самые простые и легкие слова, а он смертельно устал, измучен, ему не хочется ни о чем думать, и жаждет он только одного — поскорее уехать домой, уйти с головой в повседневную рабочую суету и забыться...

Ну вот, кажется, все. Нет, еще малиновая папка и какая-то коробочка... Мужчина раскрыл папку. Традиционный поздравительный адрес «в день шестидесятилетия...», грамота облесполкома «За безупречный многолетний труд» и открытка, красивая открытка, лакированная, с букетом чайных роз.

— Смотри, Коля!

Будто маленькое солнышко вспыхнуло на ладони у женщины. Золото — в этом не могло быть ни малейшего сомнения.

— Откуда у нее такое?.. — говорила изумленно женщина. — Новешенькие. Вот паспорт: «Чайка», 96 рублей. Ну, что ты на это скажешь?

— Что ж тут удивительного? Обычный подарок уходящим на пенсию. Всем им дарят часы...

— Но какие? Это же золото!..

Мужчина пожал плечами: ну что ж, золото так золото. Перед его глазами стояли строки, выведенные на открытке старательным, почти ученическим почерком: «Дорогая Татьяна Ивановна! Мы не можем себе представить, что Вас больше не будет с нами, нашей строгой и доброй «мамы». Мы... — строки плыли в глазах, буквы то исчезали, то вырастали, наливаясь пронзительной чернотой, — мы любим Вас и будем всегда хранить...»

— Николай! Да ты слышишь меня?

— Что ты хочешь, Женя?

— Ты говорил: «Ларисе на память...» — Женщина была возбуждена, торопилась высказаться, словно боялась, что ее лишат этой возможности. — Ну зачем ей пластинки?.. У нас же все это есть — и радиола, и магнитофон... Хочешь, возьми себе. А вот это — вот была бы настоящая память о бабушке... Это девочке, можно сказать, на всю жизнь... Она... мама... так любила Ларису... — женщина судорожно вздохнула.

«Сейчас заплачет, — подумал мужчина. — Нет, раздумала».

— Ну что ты так на меня смотришь? Ну, пожалуйста, — забирай сам. — Только зачем тебе женские часики? У тебя же парни...

Мужчина усмехнулся:

— Не надо волноваться, Женя. Бери, конечно.

— Но ты...

— Бери, бери, чего там!

«...Мы не можем себе представить, что Вас больше не будет с нами...» Да, больше не будет. Никогда не будет.

— Что ты так сидишь, Коля? Давай кончать. Там еще картонная коробка...

Оживилась сестренка. Ишь, как подействовала валерианка, даже щеки порозовели.

— Что такое? Что вам нужно? — Женщина резко повернулась к двери.

Мужчина оглянулся.

Перед ними стояли двое — парень и девчонка. Парень в небесно-голубой курточке, тугих джинсах и лохматой шапке. Девчонка, маленькая, невидная, в рыжем платочке. Она смущенно мялась на пороге, стягивая на животе кургузое пальтишко. Оба испуганно переглянулись.

— Эт-то шестая? Мы не ошиблись? — спросил парень.

— Да, это шестая квартира, — холодно отозвалась женщина. — А что вам тут нужно?

— А то, — срывающимся голосом выкрикнула девчонка, — что это наша квартира. И вы не имеете права... Вот ордер!

— Ордер? Уже ордер? Нет, ты подумай! Возмутительно...

— Подожди, Женя. Проходите, ребята, — пригласил мужчина непростенных гостей. — Садитесь.

Парень взял стул, поставил его посредине комнаты и уселся, заложив ногу за ногу. Девчонка притулилась за его спиной.

— Ваша так ваша, — мужчина улыбнулся. — Кто же спорит?

— Ага! Значит вы переезжаете? — Девчонка сразу успокоилась, понаблюдав, что люди, с которыми они столкнулись неожиданно-негаданно, не претендуют на захват чужой жилплощади.

— А как бы побыстрее, папаша, — молодой человек уже освоился в сложившейся ситуации. — Жить нам негде, а ей вот уже скоро... В общем, сматывайте удочки...

— Что? — надменно спросила женщина.

— Шутки, говорю, забирайте. И ремонтник не забудьте. Косметический, как положено. А чего вы удивляетесь? Не знали, что ли? Всегда прежние хозяева...

— Нет прежних хозяев, парень. Была хозяйка — вчера схоронили, — сказал мужчина.

Молодожены озадаченно переглянулись.

— Та-ак! — парень сдвинул на затылок шапку.

— А... вы кто? — спросила девчонка.

— А мы... мы здесь посторонние, — поспешно отозвалась женщина.

— Не посторонние, — сурово вмешался мужчина. — Я — сын. Дочь — она.

— Но мы уезжаем... Я сегодня улетаю, — женщина схватила за сумочку. — Вот билет...

— Та-ак, — повторил парень. — Что ж, выходит самим придется...

— Сами побелим, — подхватила девчонка.

Парень оглядел стены, потолок...

— Да тут работы немного, чисто...

— Подождите, — вдруг спохватилась девчонка. — А как же вещи? Вот это все? Они вам нужны?

— Ты что? — парень вскочил с места. — Эту рухлядь?.. Не смей унижаться!

— Тихо, Игорек, — девчонка положила ему на плечо руку, парень послушно опустил на стул. — Не пори горячку. Ну что тут такого? — Она говорила со спокойной убедительностью человека, уверенного в том, что его в конце концов послушаются. — Какое может быть унижение? Людям это все не нужно, а нам пока пригодится... Потом мы, конечно, гарнитур купим... Немецкий или еще какой.

— Подумают люди, что мы с тобой крохоборы какие... — слабо сопротивлялся парень.

— Господи, да никто не подумает...

Они вели себя так, словно в комнате никого кроме них не было, а вещи уже поступили в полное их распоряжение.

Это было обидно. Но в общем-то все неожиданно решилось к лучшему. Проблемы, что делать с материнским добром, больше не существовало.

Мужчина окинул взглядом комнату: удивительная метаморфоза произошла с ней — все отдалилось и предстало в ней чужим, безразличным. Из вещей как будто ушла душа. Они умерли...

Молодежь убежала окрыленная, решать какие-то свои срочные дела. Им здесь тоже теперь больше нечего было делать.

— Пошли, Женя... Одевайся.

— Постой, а вот это? — Женщина держала в руках картонную коробку. — Легкая... Пустая, что ли? — она поставила коробку на стол, сняла крышку и резко повернулась к брату. — Это еще что такое?

В коробке лежали платки. Обыкновенные женские платки. Было их много — наверное, не меньше десятка. Целая коллекция самых разнообразных платков — шелковых, капроновых, кашемировых, и однотонных, и цветных. Правда, расцветки все больше неброские, мягких тонов — золотисто-бежевые, коричневые с розоватым, голубовато-серые. Оно и понятно, для старухи ведь предназначалось...

— Что же это такое? — Женщина растерянно опустила руки и как-то даже с испугом посмотрела на брата. — Я отказываюсь понимать.

Платки, освобожденные из своей тюрьмы, нахально заполонили весь стол, превратив его в подобие магазинного прилавка. И даже запахло, как в магазине, химическим красителем, новой необношенной тканью.

— Ведь я же... я от чистого сердца, — в голосе женщины злыми льдинками звенят слезы. — Что же это она? Так ни разу и не надеть... Вот этот... Смотри, Николай, какой красавец! Я все магазины обегала — старалась ко дню рождения. А этот вот... Хотя я не помню что-то, не узнаю...

Она и не могла узнать. Зато мужчина узнал его сразу, этот большой серебристо-голубой платок из легкого крепдешина, а вот какому событию посвящался его подарок матери, так и не мог вспомнить.

Он стоял подавленный, оглушенный. Да, он ждал. Он предчувство-

вал с самого начала — с того самого момента, как открыл верхний ящик комода. Это должно было случиться. Учебник хирургии, неигранные пластинки (боже мой, как любила мать старинные песни и романсы!), прощальная открытка сослуживцев... Нет, все это еще не самое страшное... Вот, наконец, платки... Платки, платочки!

Он не слышит, как рядом изливает свои обиды сестра, — он вспоминает, вспоминает, вспоминает...

— Почему она так делала, Николай? Куда, спрашивается, она их берегла? Зачем?.. Зачем она их берегла?

Вспомнил!

— Берегла? Берегла, говоришь? Черта с два! Нет, не берегла она их, эти наши с тобой щедрые дары. А просто складывала сюда за ненадобностью. Не нужны они ей были. Не нужны, поняла?

— Как не нужны? Не понимаю.

— Ах, она не понимает! Не понимает!

Мужчина рывком выдернул верхний ящик комода. Вот он, полиэтиленовый мешочек.

— На, смотри! Смотри! — и он бросил на стол, в наглое многоцветье шелков, издававший виды серый беретик. — И вот еще — смотри! — Рядом лег белый, чуть пожелтевший под летним солнцем. — Смотри, смотри, сестрица! Вспоминай! Вспоминай хоть теперь. Она же никогда не носила платков. Никогда. Она же их терпеть не могла.. Она ненавидела платки... Даже зимой... в самую лютую стужу... Помнишь серую солдатскую ушанку?.. Помнишь?

— Чего ты кричишь? Чего ты бесишься? Можно подумать, что я одна... А ты-то, ты сам?

— И я... — мужчина тяжело опустился на кровать. — И я даже больше, чем ты... — Слово «виноват» не шло с его языка. Огромное, неподъемное, как ледниковый валун, оно прижало, придавило его, и не было сил сбросить с себя эту страшную ношу.

— Это жизнь, Коля, — вздохнув, заговорила женщина. — Разве мы могли все знать, все предвидеть? Я же самолично не раз писала ей: мама, сообщи, что тебе нужно; мы всегда поможем, и денег вышлем, если надо... Но она же всегда наотрез... Хоть бы когда-нибудь заикнулась. Ведь мы не кто-нибудь — дети родные. А сама то шапочку пришлет для Ларисы, то варешки свяжет. Я уж пишу ей — не надо, зачем утруждать себя. А насчет платков я вот что тебе скажу. Это упрямство, не иначе. Было время, не носили платков, разве что одни старые старухи... А теперь даже молодежь носит, не стесняется. А уж в ее-то возрасте... Зря ты психуешь, Коля. Может, и правда, мы в чем-то ее недопонимали. Дети и родители, у нас разные взгляды... Это жизнь, и тут ничего не попишешь.

Мужчина молчал. Он понял, почувствовал всем своим существом: сестра не хочет делить с ним горькую чашу вины, она лихорадочно ищет и непременно найдет способ усыпить свою совесть, и бесполезно доказывать ей ту простую истину, что всякие ссылки на сложности жизни не более, как подлая уловка, трусливый уход от ответственности.

— Коля! Ну ты совсем... как будто тебя ничего не касается,

— Что еще?

— А что же делать с этими платками?

— Делай, что хочешь.

— Ну почему ты постоянно уходишь от ответа? Мы же вместе должны решать...

— Делай, что хочешь... — Он с трудом поднял налитую свинцовой тяжестью голову и в упор посмотрел на сестру, — ...что хочешь. Хочешь — забирай для своей Ларисы. Не хочешь — оставь здесь, этой девчонке, или выбрось, сожги. Или хоть развесь по улице, как флаги. Мне все равно.

— Как ты жесток, Николай.

— Да, жесток! И оставь меня, бога ради, в покое...

— Нет, с тобой невозможно разговаривать. Ни капли жалости, сочувствия... Какие вы, мужики, себялюбцы... Я не могу, не могу так... — и слезы опять обильно оросили ее щеки. Но он уже не бросился к ней с водой и ватерянкой.

Вечером они стояли у дверей маленького аэровокзала, ожидая посадки.

— Ну вот, встретились, — горько проговорила женщина, — и опять расстаемся. Все как-то не так, не хорошо...

Мужчина молчал.

— Ты меня прости, Коля... Я не хотела.. Это нервы. И вообще... Вообще я стала какая-то... Прости...

— К чему этот разговор? Мне не за что тебя прощать.

— Не надо так. Я же чувствую...

От ее срывающегося голоса, от беспомощных глаз в нем шевельнулась жалость, и он понял, что должен сказать или сделать что-то такое, что могло бы успокоить ее. Ведь через несколько минут они расстанутся, и кто знает, когда еще доведется им свидеться.

Мужчина улыбнулся и легонько сжал ее руку:

— Ладно, Женя... Кланяйся мужу.

Проводив сестру, мужчина вернулся в гостиницу. Его поезд уходил через два с половиной часа. Надо было уложить то небольшое, что он взял из материнских вещей: письма отца, несколько фотокарточек, папку с прамотой и открыткой, томик Пушкина, пластинки да в последний момент прихватил трехлапую собачонку.

Мужчина достал из шкафа портфель и вытряхнул на постель его содержимое: пижаму, бритвенный прибор, мыльницу, полотенце и рубашку. Вслед за всем этим выпал маленький сверток. Бумага развернулась, из нее змейкой скользнул упругий шелк, и на кровати распластался большой зеленый квадрат...

Платок! Еще один платок для матери...

Было это... когда это было? Неужели всего три дня назад? Да,

три дня. Начинался последний месяц первого квартала. Дни летели со скоростью лайнера — то совещание, то комиссия из главка, то вызов в обком. Как на грех слегла Антонина. Он опомнился третьего марта. Надо поздравить мать с женским праздником. Времени в обрез — не успеешь сегодня, завтра будет поздно. В конце рабочего дня директор собрал у себя начальников смен и цехов. После накачки, затянувшейся на полтора часа, он бросился со всех ног в ближайший универмаг. Пока метался по отделам, не зная, на чем остановить свой выбор, время подошло к закрытию.

Молоденькая продавщица с «шалашом» на голове стояла перед ним в позе великомученицы, демонстрируя своим видом ангельское долготерпение. Только ее розовые коготки нервно постукивали по прилавку.

— Что-нибудь... пожалуйста! Для пожилой женщины...

Продавщица наклонилась, покопалась под прилавком и небрежно раскинула перед ним платок. Этот самый. Зеленый.

Дома его ждала телеграмма.

из литературного „архива“

Принято считать, что первой русской печатной книгой был «Апостол», выпущенный в 1564 году Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.

Но недавно в Архангельской области обнаружена прекрасно изданная (за 10 лет до «Апостола»), в бархатном переплете, книга в 322 листа — так называемое «узкошрифтное евангелие».

* * *

Большая Китайская энциклопедия состояла из 11095 рукописных томов, из которых 60 занимало только оглавление. В составлении энциклопедии принимали участие свыше 2 тысяч ученых. Из всего этого огромного собрания до нас дошло лишь около 400 томов, которые хранятся в Париже.

* * *

В 1748 году весьма тщеславная царица Елизавета распорядилась выдать М. В. Ломоносову 2 тысячи рублей в качестве награды за посвященную ей поздравительную оду. Эта награда была доставлена Ломоносову на... двух подводах.

Дело в том, что деньги были медными и 2 тысячи рублей весили примерно 1800 килограммов.

* * *

Наряду с арабскими сказками «Тысяча и одна ночь» есть персидские сказки «Тысяча и один день». Впервые они были переведены на европейский (французский) язык и изданы в Париже в начале XVII века.

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

1

Сегодня неожиданно постиг:
Да, так и есть, с горами и морями
Наш шар земной не так уж и велик:
Полглобуса—пространство между нами.

А я живу так близко от тебя,
Что, обманув себя всего лишь малость.
Спешу домой пораньше, как всегда,
Чтоб обо мне ты вдруг не волновалась.

Однако полпланеты — не пустяк!
И лайнерами или поездами,
Но, милая, вернуться надо так,
Чтобы земля не встала между нами.

2

Вот так родных не огорчу письмом —
От боли мне молчание с руки.
Приберегаю это на потом,
На поздние стихи.

Вот так счастливым трудно говорить.
Вдруг перехватит — только воздух ртом...
Я все в стихах сумею повторить,
Но не теперь — потом.

Вот так люблю, волнуюсь и дышу!
Не суверен — это мой закон —
Я о тебе ни строчки не пишу.
Не дай же бог мне написать потом!

3

Мои беды все больше левеют —
Ближе сердце теперь до всего.
Вот и письма твои темнеют,
Словно старое серебро.

Это чувство — оно незабвенно —
Выдает, будоражит меня!
Так хранит прошлогоднее сено
Запах высохшего дождя...

Это день мой уходит в зенит,
Облака и дожди задевают.
Забываю тебя, извини,
Так больные недуг забывают.

Дьяволица

РАССКАЗ

Это уже сколько лет прошло, как нет в живых бабки Марфы Прониной?.. Много. А нет-нет да и вспомнится.

Ох, и остра же была на язык старуха. Острее всех женщин в нашем селе. Бывало, никому спуска не даст, от всего базара одна отбазарится. Ей кто-нибудь голое словцо, она в ответ — десять, да не простых, а все кучерявых. А уж хитра-то, хитра была. На кривой козе ее не объедешь, в ступе пестом не утолчешь...

В день пасхи мы с Петькой, моим двоюродным братом, поднимались ни свет ни заря и шли «славить». Заходили во все дома подряд. Еще за порогом стаскивали шапки и возвещали в один голос:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — отвечали нам хозяйки с таким необыкновенным благодушием и с таким озарением лица, будто мы были вовсе не те самые «безобразники», «прохвосты» и «сорви головы», которым еще вчера эти же самые женщины прозили хворостиной и обещали о наших проделках рассказать родителям, а опустившиеся с небес кроткие ангелы.

Давали нам кто что. Кто по крашеному яйцу, кто по шанежке или какой другой печенюшке, а кто даже и по пятнадцати или двадцати копеек. Мы с достоинством говорили «спасибо», торопливо нахлобучивали шапки и выкатывались из дома. На крыльце распахивали яйца и деньги по карманам, а всякуюстряпню бросали собакам, которые, не в пример нам с Петькой, без всякой благодарности мигом проглатывали угощение и, ластиво виляя хвостами и заглядывая нам в глаза, ждали еще, но убедившись, что больше ничего не получают, начинали нас облаивать.

— Христос воскрес! — говорили мы в следующем доме.

— Воистину воскрес!..

Так доходили до края села, где у самой реки на крутом яру стоял домишко бабки Марфы Прониной. Небольшой, но справный, он взирав на окружающий мир так же независимо, задиристо и лукаво, как и его хозяйка. Чтобы попасть во двор к бабке Марфе, нужно было пройти от дороги по тропинке мимо бани. Перед тем как свернуть на эту тропинку, мы останавливались. Будто делая какое-то в общем-то несложное дело, доходили до момента, когда требуется немного собранности и тонкости поведения. Потоптавшись на месте, Петька решитель-

но расправлял плечи, делал глубокий вдох и твердым шагом устремлялся вперед.

— Айда.

— Даст или не даст? — спрашивал я тихо, семена позади.

— Посмотрим, — неопределенно, но тоном человека, готового ради успешного завершения дела пойти если не на все, то на многое, отвечал Петька.

Едва мы доходили до бани, во дворе уже заливалась Вертушка. Сенная дверь тут же открывалась, и на крыльце появлялась бабка. Цыкнув на собаку, подходила к калитке, обеими руками бралась за штакетины и, подняв голову, начинала шарить глазами по небу: будто гадает погоду и будто это гадание ничуть не связано с нашим шествием, а имеет вполне самостоятельный смысл. Приблизившись к самой калитке, Петька толкал меня локтем в живот, и мы враз, стараясь погромче и поторжественнее, возвещали:

— Христос воскрес!

Бабка Марфа — хоть бы краем глаза на нас. Ищет что-то на небе и бормочет себе под нос какие-то непонятные слова. Петька подмигивал мне, и мы еще громче и настойчивее:

— Христос воскрес!

Бабка резко поворачивала голову в нашу сторону, ставила ее как-то боком, как если бы изготавливалась боднуть нас.

— Чего как скаженные-то?! Медведь мне на ухо не наступал, — и тут же бархатно, спрятав жалость: — Воистину воскрес, говорю, воистину. Славите, значит? Господь, соколики, зачет вам это. Славьте, славьте. А как же. Вот хоть вы, а то совсем уж все перестали. А учителей-то не боитесь? А ну, как родителей вызовут да хвоста-то им накрутят. Мол, детки-то ваши, пионеры наши, никак в бога веруют...

— Не, мы не верим, мы просто так, — объяснял Петька, пробуя как-нибудь подладиться под бабку, но не понимая, что этим самым рискует погубить и без того не очень-то надежное дело.

— Эт как же так, воробьиное твое сердце? — изумлялась бабка. — Кого ж вы тогда славите, коли не верите?

— Так ведь пасха же...

— Так вы же, говорю, не верите во Христа-то, а славите. Это где ж такое видано, чтобы был щенок, а и не сукин сын? А?

Обескураженный Петька, приоткрыв рот, смотрел в острые зеленые бабкины глаза.

— Ну, чего уставился-то, как гусь на зарево?

Петька смущенно склонял голову и смотрел на свои сапоги, по случаю праздника до блеска начищенные ваксой. Налипшие на них комья и лепешки грязи, конечно, были никак не совместимы с этим блеском. Машинально поставив сапог на перекладину калитки, Петька начинал тщательно очищать его от грязи. Бабка Марфа этого или чего-нибудь такого только и ждала.

— Это вы что же, соколы, вороньи перья, меня грязью обмазываете, а? — голос ее становился зычным, открыто атакующим. — Это еще

что за охальство такое неслыханное! А ну, поворачивайте оглобли, пока хворостину не взяла! Вот уж истинно нехристи. Сла-а-авят они!

Нам ничего не оставалось, как поворачивать оглобли. Петька шел и бурчал:

— Даст она от дохлого осла уши. На другой же день облезет, если что даст.

А бабка грозилась нам вслед:

— Погодите, я вот вашей Спичке скажу. Самому директору скажу. Завтра же! Ишь, пи-а-не-ры!

— Скажет? — шепотом струхнув, спрашивал я у Петьки.

— Посмотрим, — с мрачным равнодушием отвечал Петька. И поразмыслив: — Не скажет. Директор на нее злой, в прошлое лето она у него полпокоса захапала. А со Спичкой у нее, сам знаешь, тоже не лады.

Спичка — это учительница ботаники и наша классная руководительница. Звали ее Ниной Петровной. Когда она после окончания института приехала в нашу школу, ее определили на квартиру к бабке Прониной. Рассказывают, бабка, когда привели к ней учительницу, не пропуская ее дальше порога, утвердив руки на пышных бедрах, стала напротив и принялась выпытывать: откуда да почему, по какому учить будешь, умеешь ли полы мыть, воду на коромысле таскать, печь топить. Когда все до последнего выпытала, всплеснула руками и сказала удивленно, будто только теперь заметила:

— Ласточка ты моя, а тощая-то ты какая! Да на тебя и смотреть-то срамно, — и хохотнула отрывисто в лицо учительнице: — Говоришь, ботаничка, а пошто ж тощая, как спичка? Ну проходи, садись, чего стоять-то. Не я тебе за простой, а ты мне за постой платить-то станешь.

И бабка тут же выставила свои условия: каждое утро печь растапливать, полную кадку воды нанашивать, два раза в неделю в комнатах и сенях полы мыть, молоко, яйца, огурцы, помидоры и прочие продукты покупать только у нее.

Нина Петровна была покладистой, все эти условия приняла, и стали они жить.

Соседки, повстречав бабку Марфу, говорили ей:

— Постоялица-то твоя — огонь, не девка. Ничто ей не грузно. Все чего-то там у тебя моет да скоблит. И огород вон убрать пособила. Нынче ты без найма обошлась.

Такие речи бабке не нравились.

— Уж вы, бабы, смотрите, такие приметливые. Дела-то на вершок, а слов уж с мешок. Ну так и что ж, что без найму? А вы поглядите на нее: спичка ведь, как есть спичка.

К Нине Петровне так и пристало, как банный лист к спине, это прозвище. Все, и уж, конечно, в первую очередь мы, школьники, стали называть ее Спичкой. Хотя, если говорить правду, Нина Петровна была никакая не спичка, а изящная, я бы сказал, лучезарная девушка, как теперь понимаю, очень увлеченная своими ботаникой и зоологией и мечтающая о том, чтобы мы тоже увлеклись ее предметами. Мы и в самом деле увлеклись, кто больше, кто меньше. А один семиклассник,

безоговорочно и с каким-то особым удовлетворением признанный учителями лоботрясом и законченным хулиганом, даже перестал ко всеобщему недоумению хулиганить и лоботрясничать, сделался положительным учеником и вдобавок еще недостижимым аккуратистом. В школу он стал приходить такой весь ухоженный и наглаженный, что, приблизившись к нему, я, например, ощущал себя ущербным. Когда Нина Петровна входила в класс, он млел и краснел, как китайское яблоко, а когда урок кончался, страдальчески вздыхал и с томной нетерпеливостью ждал нового урока Нины Петровны. К слову, сейчас этот семиклассник — главный инженер одной крупной шахты и увлечен своей работой не меньше, чем Нина Петровна была увлечена своей. А что? Между каменным углем и ботаникой связь, если и не прямая, то и не такая уж отдаленная...

У каждой эпохи свои приметы, свой цвет времени. Время, к которому относятся эти воспоминания, было окрашено в яркие светлые тона. Тянули ветры, несущие свежесть и ободрение. Все вокруг пришло в весеннее оживление, внешние потоки событий смывали старое, черствое, захиревшее, расчищая место для нового. Как-то в самом начале зимы по селу прошел слух, что у нас будут строить новую МТС и народу нагонят видимо-невидимо. Слух оправдался. Вскоре в селе появились два бульдозера и заползали по улицам, разгребая снег и заставляя пугливо вздрагивать избы. Потом пришли из города тракторы, автомашины, а с ними и люди. Людей было не то что видимо-невидимо, как говорили, но все равно много. Всех их надо было разместить. В обществения превратили все, что можно было, даже клуб и школу пчеловодов, но всех не разместили, стали устраивать на частные квартиры.

Вот тут-то бабка Марфа и поняла, что сделала промашку, приняв к себе учительницу. От постояльца-мужчины, да если он еще с трактором или с машиной, можно было бы получать куда большую выгоду, чем от Спички. И бабка замыслила поправить дело. Всем встречным-поперечным она стала шепотком, по большому секрету говорить, что так-то Спичка вроде и ничего: и воды наносит, и печь истопит, и подметет, и вымоет и все-таки, прости господи, как бы не с червоточинкой. Бабка вроде всегда была памятлива, знала, сколько у ней чего, а теперь вот нет-нет да и не досчитается то рубля, то тройки.

Женщины махали на нее рукой:

— Типун тебе на язык, старая. Девка-то не какая-нибудь там, а учительница, нешто позарится на чужое. Пошлины на слова нет, вот ты и ерундишь ерунду всякую.

Бабка пропускала эти замечания мимо ушей и вздыхала:

— Ой, чую, введет она меня в беду, как бес в болото. За чужого человека ведь не заручишься.

Однажды, как раз перед новым годом, Нина Петровна, придя из школы, увидела на двери дома замок. Пошарила в щели над верхним косяком — ключа не нашла. Вспомнила: вечером хозяйка говорила, что сегодня будут давать муку. Заторопилась, наверное, в магазин и сунула по старой привычке ключ в карман. Когда Нина Петровна вошла в магазин, кружок женщин, в котором стояла и бабка, притих.

— Тетя Марфа, дайте ключ.

Бабка сложила губы в трубочку, подождала, помедлила, чтобы на нее и постоянно обратили внимание и те, что стояли в сторонке, и сказала погромче, для всех:

— Изволь-ка уж, матушка, обождать. Достоюсь вот до муки, тогда и пойдем.

— Мне некогда, тетя Марфа, на репетицию тороплюсь.

— Ну так и что ж, что некогда. Ключ от дома, как и судьбу, всякому встречному не доверишь. Такое нонче время пошло.— И, оглядывая женщин: — Вчера это меня будто кто подтолкнул, мол, зайди в кладовку. Зашла и глазам своим, бабоньки, не поверила: двух гусей как ветром унесло, только голые крючья болтаются. Все лето ходила, ходила за имя, а покушать и не пришлось. Так-то, милая,— повернулась к постоялице.

— Тетя Марфа, что вы говорите,— прошелестела губами остолбеневшая Нина Петровна.

— А что есть, милая, что есть,— развела бабка руками,— а что в глаза при людях выговорила, так ты уж извиняй. Мы люди неграмотные, едим пряники неписанные.

Нина Петровна под людскими взглядами почувствовала себя не лучше, чем голый в крапиве, заплакала и выбежала из магазина. В тот же вечер она ушла от бабки.

А на другой день бабка Марфа приняла новых постояльцев, сразу трех: тракториста и двух шоферов. И была радехонька. Постояльцы, молодые, здоровые ребята, каждый вечер чего-нибудь да привозили в кузове. То угля, то горбылей, то несколько листов шифера, то десяток кирпичей, то какие-то бочки. Ребята стаскивали все это во двор, а бабка Марфа, как генеральша, возвышалась на крыльце. Утвердив одну руку на бедре, перстом другой указывала:

— Мишенька, сынок, ты вон ту-то дощечку, что подлиннее, к стойке приставь, мы ее на заплот пустим по весне, а эту к колоде поднеси и сегодня же изрубите, чтоб не спотыкаться об нее. Коля, да ты ошалел, милый! Кто же так-то с ящиками обращается — поколотишь ведь. А где же крышки к ним? Ах, семечки вы тыквенные, чего б заодно крышки-то в кузов не забросить, поди же, не по пуду каждая... Степа! Где Степа-то? Да ты уж в кабину сел, друг ситцевый. А корове сенца-то дал?.. Так поди ж, дай, а потом уж и машину гони. Мне же донть надо да вас кормить-поить...

Перемены, происходившие в селе, так или иначе коснулись каждого человека. Меня, к сожалению, тоже. К сожалению — потому что не такое уж удовольствие подниматься ранним утром, когда ресницы, как склеенные, не хотят размыкаться, а голову, как если бы в нее переместился центр тяжести тела, никак не оторвешь от подушки.

— Вставай, вставай, сынок,— тормошил меня отец,— а то опоздаешь: люди на работу уйдут.

Волей-неволей я поднимался, густо сопя, одевался, брал уже приготовленный матерью бидон с молоком и волочился к клубу, превращенному в общежитие.

— Кому молока? — спрашивал, переступив порог.

Рабочие молча ставили на стол банки, и я наполнял их. Иногда из-под одеяла высывалась косматая голова какого-нибудь шутника:

— Молоко, парень, какое?

— Свежее и вечернее.

— Это ясно. Коровье, спрашиваю?

— Ага.

— Тогда не надо. Вот птичьего я бы взял.

Когда я торговлю уже заканчивал, влетала бабка Марфа, тоже с бидоном.

— Молочка, соколики, молочка! Свеженького! — зыркала на меня недобрыми глазами: — Уже поспел, пострел?

Молоко у нее, конечно, уже никто не брал, и ей приходилось тащиться через весь бор в школу пчеловодов и в другие общежития.

Один раз бабка Марфа вошла в клуб, когда я наливал молоко пожилому рабочему. Вытянув шею, как гусыня, заглянула в бидон, много ли осталось, и, вздохнув, спросила будто просто так:

— А что, Вовка, корова-то ваша уже перехворала бруцеллезом?

— А она и не хворала.

— Да ты малец еще, много ли смыслишь-то. Болела, милый, болела.

Рабочий отвел бидон в сторону.

— Так ты что же это, хлопец, заразой торгуешь? — матерно выругался и плюхнул молоко назад. Взял меня за плечи, повернул к двери: — Драпай-ка отсюда со своим товаром.

Другие рабочие тоже заговорили нехорошо.

— Да вы уж, ребята, не шибко на парнишку-то; его ж послали, — лицемерно вступилась за меня бабка. — Ну, соколики, кому свеженького?..

Я шел домой и горько плакал. Обида взяла. Наша Жданка ни бруцеллезом, ни какими другими болезнями никогда не болела. Напротив, считалась лучшей коровой в селе, а по мнению отца, даже лучшей в районе. Когда Жданка приносила телочку, то от покупателей не было отбоя. Всем хотелось иметь такую же хорошую корову.

— Чего реवेशь-то? — спросил отец, когда я вошел в дом.

Не переставая плакать, я рассказал.

— От сатана, — и отец вскинул на меня брови, будто я и был сама бабка Марфа: — Да нас же тогда судить надо! Ну что за баба!

Отец тут же собрался и пошел в клуб — объясняться с рабочими. Однако это хождение никаких положительных результатов не дало. Со следующего утра я стал носить молоко в школу пчеловодов.

Но длилось это совсем недолго. Однажды, когда я проходил с бидоном мимо клуба, дверь приоткрылась и тот же самый пожилой рабочий позвал меня:

— Хлопец, заверни-ка сюда, нальешь мне поллитровку.

В душе я обрадовался приглашению, но обида за оскорбленную честь нашей Жданки была жива.

— Так заразное же,

— Ишь ты, перец! Заходи, сегодня многие возьмут.

Я зашел. Рабочие были почтительно-сдержанны, будто сознавали свою вину передо мной и хотели ее как-нибудь загладить. А мне, естественно, хотелось узнать, что же такое произошло. И вскоре узнал. Об этом говорило все село.

Почти на другой же день, как трое парней поселились у бабки Марфы, у них расстроились животы так, что дверь дома почти не закрывалась. Стали искать причину. Сначала грешили на воду в нашей реке, мол, «других качеств». Но, подумав, заключили, что «других качеств» быть не может, потому как город, откуда приехали рабочие, стоит на этой же реке тридцатью километрами ниже. Потом выяснилось, что расстроились животы и у нескольких человек, живущих в клубе, как раз у тех, кто брал молоко у бабки Марфы. Причина, кажется, прояснилась. Бабкиным постояльцам поручили «накрыть» злоумышленницу. Что парни с успехом и сделали. «Накрыли» бабку в тот самый момент, когда она плюхнула в бидон с молоком добрый черпак воды. Торжествуя победу, ребята стали придумывать бабке кару, стараясь изобрести что-нибудь поизощреннее. Пойманная с поличным, бабка не отпиралась, но и пощады не просила, такое было не в ее правилах. Затаившись на лавке в углу кухни, она слушала злорадные слова постояльцев по поводу своей персоны и обмозговывала план сокрушительного контрудара.

— А если мы ей, благодетельнице нашей, — придумывали ребята кару, — этот самый бидониче на шею повесим и — вдоль деревни?..

— А в руки ведро с водой.

— Два, два ведра!

— И без коромысла...

— А документики-то у вас имеются? — в совершеннейшей невозмутимости осведомилась бабка, прищурив один глаз.

— Какие еще тебе документики, язва? Может, санкцию прокурора? Ха-ха-ха!..

— Да я не про ваше, ясные вы мои, я про другое. Машину угля привезли, — бабка загнула палец, — документы есть? Тридцать листов шифера, восемнадцать плах, два мешка цемента, горбыли, ящики, бревешки... Документы, спрашиваю, у вас на это имеются или вы у своего начальства взаимно попросили?

У ребят вылезли глаза на лоб.

— Во дает! Теперь это твое, ты ж сама просила, старая бочка!

— Но-но-но! Не шибко-то бочкайся! Мое-е? Да на кой оно мне ляд? Знаю вас, хитрых Митриев. Понатащили ко мне во двор всякого, чтобы весной налево спустить. А хоть бы и просила. Я, может, трактор у тебя, дурачка, попрошу, ты мне и трактор ни за здорово живешь отдашь? А ведь он казенный, не единоличный. Поприжмите-ка хвосты, соколы ясные, а то, неровен час, куцыми не остались бы. Ну? Чего как с креста снятые сделались? Послушаю, что вы мне теперь скажете.

У парней было что сказать бабке, и они, конечно, сказали. Понятно, то были выразительные слова, но с помощью их можно разве что

душу отвести, но неприятность, если она грозит, не отведешь. А наживать неприятностей ребятам не хотелось. Попрузили на машину свои вещички и поехали в общежитие. Разворачиваясь, они то ли ненароком, то ли с умыслом свернули на бок уборную, в которой каждый из троих провел столько не очень-то приятных мгновений.

— Ироды окаянные, чтоб вас... — бабка пожелала вдогонку своим, теперь уже бывшим, постояльцам медвежьей болезни.

Уборная — это чепуха, в главном же, как и всегда, бабка одержала верх.

И все-таки однажды в жизни бабке Марфе Прониной пришлось испытать горечь поражения. Перед самой смертью произошел с ней случай, который, бывает, рассказывают еще и сейчас. Некоторые считают, что именно этот случай и стал причиной ее смерти. Другие утверждают, что случая такого вообще не было, что история эта от начала до конца выдуманная. Возможно, что и так, выдуманная. Тогда утешим себя мыслью, что ни одна история ни с того ни с сего, просто так не придумывается, за ней всегда что-нибудь да кроется.

Рассказывают, что как-то по весне бабкина рябая курица забралась в огород к соседке Наталье Плетневой и разгребла начисто все огуречные лунки. Наталья прибежала к бабке Марфе:

— Почему за курицами не следишь, старая? Вон чего наделала твоя рябуха!

— Но-но-но, голуба душа, больно-то, девка, не шуми, не разоряйся, поди, не у себя дома, а в гостях. И кто же это тебе, милушка, поведal, что моя курица напакостила?

— Рябые только у тебя.

— Ты гли-кося, чего она воротит. А у Монашихи никак зеленые? Не с той ноги, кума, плясать пошла.

— То-то она побежала, когда я ее пужанула, не к Монашихе, а к тебе. Своего двора не помнит?

— А то и побежала, что ты сюда пужанула. Побоялась бы бога, Наталья.

Перепалка была долгой. Но бабка Марфа так и не выдала свою курицу. Уходя, соседка сказала в сердцах:

— Ну погоди уж! Будет тебе, старая, лихо.

— Не бей в чужие ворота плетью, не ударили бы в твои дубиной, — бросила вдогонку старуха.

А наутро бабка Марфа и в самом деле занемогла. Что-то колом закололо внутри. От расстройства, решила бабка, а может и так чего, старость ведь не младость. Да пройдет, поди, разомнусь. Но не проходило, а еще пуще колоть стало. Тогда с оханьем и стоном надела бабка длиннополое атласное платье, повязала цветастый ситцевый платок и пошла туда, куда весь свой век дороги не знала, в амбулаторию.

Доктор принял ее, послушал и сказал:

— На рентген вас, мамаша, направляю, — написал бумажку и подал бабке.

— А что это оно такое будет? Уколы или прогревание?

Доктор засмеялся:

— Совсем другое, бабуся. Вашу грудную клетку просветят. Неужели не знаете?

— А шут вас знает. Понавидумываете чего ни попадя. Почему я до вашего брата и не любительница.

— О, бабуся, рентген — выдумка превосходная. Вот сейчас поймете, вас просветят и увидят все, так сказать, тайны вашей души.

— Неужели все чисто видно?

— Все до капли, бабушка. А самое удивительное — в темной комнате. Техника двадцатого века!

Вот уж точно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Все разом бабка Марфа поняла. Знала соседка, что говорила, суля ей вчера «лихо». Ведь это же ее, Натальина сноха теперешняя, Валька, что прошлой осенью после учебы в село прислали, рассказывают, в темной комнате сидит. Совсем тошнехонько стало бабке. Впору хоть тут ложись да и помирай. Пристроила она несмело на краешек стола бумажку, отошла к самой двери и сказала, вытирая глаза уголком косынки:

— А может, сынок, не надо в душу-то заглядывать. Уж я, грешница, и так скажу: рябая-то курица моя была...

Вот такая история. На другой день после нее, рассказывают дальше, бабка Марфа готовила на огороде землю под помидоры. Вдруг опять кольнуло в боку. Бабка ойкнула, выронила из рук грабли и повалилась на землю. Соседи увидели, побежали к ней. Побежали не в обход, через калитку, а полезли прямо через ограду. Говорят, бабка подняла голову:

— Да вы мне, поди, изгородь изломали, черти окаянные! — это были последние ее слова. Она тут же потеряла сознание, а к вечеру померла...

О покойниках во время похорон и в первое время после них принято говорить только хорошее. Поэтому о бабке Марфе Прониной говорили коротко:

— Легкой смертью померла.

— Никому не докучила.

— Дай бы бог каждому так.

Не найдя больше, что сказать, умолкали. Но однажды, правда, уже после того, как отвели сорочины, Монашиха, как бы подводя итог всему, рассудила:

— А все же, бабы, дьяволица была Прониха, истинная дьяволица. Душой ее нечистый владел, оттого она так и жила. А потом-то, видно, и дьявола прогневила чем-то. Он от нее и отступился. Сколько же можно было от нее терпеть всякое...

Женщины в тихой задумчивой печали мерно покивали головами и ничего не сказали на эти слова.

**Бронислав
Абрамов**

В присяге работников органов внутренних дел есть слова: «...Я клянусь добросовестно и беспрекословно выполнять все возложенные на меня обязанности... не щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни...»

И самой жизни! В предлагаемых документальных рассказах автор повествует о героических поступках работников милиции Кузбасса, когда их верность долгу проверялась в минуту смертельной опасности, когда на принятие решения не оставалось и секунды. Порою схватка с преступником заканчивалась гибелью защитника наших законов. Такая смерть не менее героична, чем смерть воина на поле боя, и народ свято хранит память о мужественных солдатах порядка. В названиях улиц — Анатолия Коломейцева в Кемерове, Василия Коваленко в Киселевске, Михаила Дубинкина в Итате, Петра Чередиенко в Анжеро-Судженске и других — увековечен их боевой подвиг в мирный час.

Л. Н. Толстой сказал, что подвиг совершает «человек, который оказался в нужное время на нужном месте и делал нужное дело». В полной мере эти слова относятся к работникам милиции — героям этих рассказов.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ

«Сегодня, 19 мая 1946 года в 0 часов 30 минут в г. Киселевске при исполнении служебных обязанностей убит оперуполномоченный угрозыска Коваленко. Преступники арестованы. Подробности спецсообщением.

Зам. начальника управления милиции

СОКОЛОВ».

*(Сообщение по ВЧ начальнику
Главного управления милиции МВД*

Галкину)

Начальника милиции Максимова после очередного сердечного приступа положили таки в больницу, и утреннюю летучку проводил его зам. по оперативной работе майор Кошут. За широким столом с двумя массивными тумбами столон его и без того неприметная фигура еще больше помельчала. Спасали майорский вид, придавая положенную по чину внушительность, черные, неестественно длинные и кустистые брови, которых хватило бы на пару добрых усов. Казалось, они даже мешали ему смотреть.

Кошут привычно, из-под бровей, окинул взглядом собравшихся. Вдоль стен узкого кабинета — кто на стульях, кто на табуретках, несколько человек на продавленном «музыкальном» диване — разместился почти весь оперативно-начальствующий состав: уполномоченный разрешительной системы Ковальчук, начальник стола приводов Бабкин, инструктор загса Грязнов, старший оперуполномоченный

по розыску Лукин, госавтоинспектор Сапожков, участковые уполномоченные Гапаков, Бабаев и Круглов. По заведенному порядку ближе всех к столу сел заместитель по политчасти лейтенант Маклецов.

— А Коваленки почему нет? — спросил Кошутков.

— Так он же с позавчерашнего дня в отпуске, — весело ответил замполит. — Дождались! Первый отпуск в отделе за пять лет...

Кошутков досадливо двинул бровью.

— Надо ж, забыл. При мне Максимов приказ подписывал. Жаль, а придется отозвать. Скажи, Бабаев, дежурному.

И без паузы, но уже другим, подчеркнуто сухим, официальным голосом начал оперативку.

— Сами знаете, товарищи, оперативная обстановка у нас исключительно напряженная. Вчера разговаривал с областью...

Кошутков болезненно поморщился, вспоминая, каким беспомощным он себя чувствовал в этом разговоре. Да и был ли разговор? Обычный очередной раздолбай. Что ж, лежачего только и бить.

Подполковник Юренко, его непосредственный шеф в областном управлении, сначала на диковину тихим и чрезвычайно уставшим голосом, в котором, чувствовалось, таилась тысяча чертей, чуть ли не ласково осведомился, когда товарищ майор сможет навести порядок в своем Киселевске и, в частности, доложить о раскрытии грабежей на территории Калзагай.

Не дослушав пустившегося было в объяснения Кошуткова, подполковник, разом выпуская на волю притаившихся чертей, завернул во весь свой немалый бас хитро и намертво сколоченную фразу, что свидетельствовало о переходе его на привычную манеру беседы с подчиненными, и посоветовал не крутить ему мозги, а принять все исчерпывающие меры к раскрытию преступлений.

«Спасибо за ценный совет, — ответно накаляясь, подумал Кошутков. — Только какие, позвольте спросить, товарищ подполковник, еще меры принимать? Исчерпали мы их все, до доньшка исчерпали. Оперативники, участковые, рядовые милиционеры — все задействованы, все крутятся вокруг коды, а толку все нет. Правильно, сноровки, опыта не хватает. Какой уж там опыт, когда в отделе почти одни новички, вчерашние фронтовики. А фронт в милиции иной, чем на войне — в луту не разглядишь, на ура жулика не возьмешь. И сыщицкого опыта на базаре не купишь...».

Может, и дальше мысленно врубал бы Кошутков в таком духе своему начальнику Юренко, вполуха слушая его вразумляющий монолог, но тот, вдруг обрезав на высокой ноте, бросил трубку.

Из разговора майор понял, что никто за них тут работать не будет, что пора со всей ответственностью относиться к своим служебным обязанностям и что если в ближайшее время положение дел в Киселевске не поправится, то...

Как раз на этом месте Юренко и оборвал, предоставив майору широкую возможность самому догадываться о последствиях и рисовать мрачные картины неминуемой кары.

Пятиминутка получилась чуть ли не часовой, и когда все разо-

шлись, Кошутлов устало откинулся на спинку стула, прислушиваясь к знакомой боли в желудке. Но тут же скрипнула дверь, и в ее проеме появилась крупноголовая, крепко сколоченная фигура.

— Разрешите, Константин Иванович?

— Входи, входи, Василий!

Вошедший, осмотревшись, вдруг дугой выкатил грудь, сделал от порога несколько шагов, лихо выбрасывая кривоватые ноги в растоптанных сапогах, и усердно отчеканил, поедая глазами начальство:

— Товарищ командующий! Оперативный уполномоченный уголовного розыска четверть генерал милиции Васька Коваленко прибыл по вашему вызову. Чем могу служить?

— Да хватит тебе, Василий, не до шуток. — Кошутлов юрко вынырнул из-за стола, протянул щуплую руку навстречу широкой ладони Коваленко.

Службу в милиции оба они начинали в одинаковых чинах, участковыми, но Кошутлов, имеющий незаконченное среднее образование, быстро пошел в гору, уверенно продвигаясь по шатким служебным ступенькам, а Коваленко со своими пятью классами пахал да пахал простым «опером» в угрозыске.

К началу войны он был в городе признанным мастером сыска. Поэтому и на фронт не взяли. А Кошутлова подвела частая спутница нервной и неупорядоченной милицейской жизни — язва желудка.

Оба остро переживали свое положение тыловиков и до последних дней войны изводили начальство рапортами с просьбой послать на фронт, а когда приблизилась победа и надежд на фронт не оставалось, не забывали по этому поводу подтрунить друг над другом.

Разница в служебном положении несколько не повлияла на их дружеские отношения, хотя на людях и Коваленко, и Кошутлов строго следовали субординации.

— Вот что, товарищ генерал сыска, — серьезным тоном сказал Кошутлов. — Сейчас придется тебе выехать на кражу...

— А я ведь, Костя, отдохной, как говорит моя Галка. Еще трех дней не прошло, как отпускник, — торопливо ввернул Коваленко, отлично понимая, что эти его слова не возымеют на Кошутлова ни малейшего действия.

— Бывший отпускник, бывший. И не «еще», а «уже». Уже три дня прошло, как ты маешься без работы. Будто я не знаю, как ты к дежурному бегаешь узнавать обстановку. Так что исключительно ради твоего душевного спокойствия отзываю тебя из отпуска.

— Пожалел волк кобылу... Знаю, после ОВ такой добрый.

— Ишь, как быстро проинформировался. Да, именно после очередной взбучки я такой и недобрый, Вася. Но эти калзагайские грабежи...

— Раз надо, чего тут. Я это так, для пущей важности. Только вот хлебные карточки надо отоварить. Домашних некого послать. Знаешь ведь, настоящий лазарет у меня. Потому и в отпуск Максимов отпустил.

— Ладно, выкранвай время. Но кража не терпит, вчера на Афо-

нинской заявили. Ну, с кражей проще. Рудковского работа, раскрутим. А вот насчет грабежей дело швах. С пистолетами ходят. У тебя, кажется, что-то уже наклеивалось?

— Цеплялось малость. Думаю, что и Рудковский с ними контактит. Я, как в отпуск, Огурееву все передал.

— Знаю. Да только твой Огуреев вчера в Абакан поехал: сигнал есть, Танцор там объявился. Привезет — пару старых краж обязательно опишем. Ну, а тебе здесь придется со свежими разбираться.

Кошутков не сомневался, что Коваленко с присущей ему основательностью возьмется за раскрытие грабежей, знал, что никакой обиды на него этот отзыв из отпуска не может вызвать — не личное здесь дело, и все же испытывал какое-то беспокойное чувство вины перед товарищем. Пять лет без роздыха, изо дня в день, из ночи в ночь на такой кошмарной работе, как уголовный розыск, — такое нелегко выдерживать.

Коваленко знал, что называется, наизусть всех местных воров и спекулянтов, и те, отдавая должное его проницательности, предпочитали действовать в соседних городах Прокопьевске, Новокузнецке и Белове, а тамошнее ворье, в свою очередь, нет-нет да наезжало в Киселевск и задавало порой милиции такие задачи, от которых ее начинало лихорадить. В такой обстановке Коваленко чувствовал себя преотлично, удивляя Кошуткова своим уверенным спокойствием, за которым ясно проглядывала радость бывшего охотника, напавшего, наконец, на след сильного и хитрого зверя. Тут уж Коваленко был богом, а не простым оперативником.

Кошутков вдруг вспомнил, как Коваленко в позапрошлом году осенью искал скотокрадов. Было их трое. Ночью уводили корову из чьей-нибудь стойки на окраине города и продавали в другом районе или забивали на мясо. А что это значит: остаться в голодное военное время с ребятишками без единственной кормилицы. Коваленко такую беду собственной кожей чувствовал: у самого четверо — мал мала меньше, а зарплата — от силы мешок картошки купить.

Воров он все же настиг. Привел их, а сам хуже бродяги: до ввалившихся глаз щетина, из телогрейки клочья ваты торчат, от сапог одни голенища остались, но, как всегда, веселый.

— Представляй, — смеется, — меня, Костя, к награде. Не за то, что кражи раскрыл, а что казенные голенища не съел.

Прикинули потом: двести с лишним километров отмахал по следам шайки.

И сколько таких дел бывало! Что ни говори, а Коваленко первым в отделе заслужил отпуск.

К тому же знал Кошутков, дома у него взаправду лазарет: вслед за трехлетней Галкой заболела пятилетняя Тамара, а теперь, простудившись, слегла и жена. За первоклассником Юркой тоже глаз да глаз нужен. Так что не от хорошей жизни пошел в отпуск Коваленко.

Кошутков, чтобы как-то смягчить свое решение об отзыве, сказал примирительно:

— Ладно, Василий. Это тебе последнее задание. Раскроешь грабежи и месяц гуляй. Что бы ни случилось, не буду дергать.

— Последняя у попа жена, — махнул рукой Коваленко, — ты осторожней с обещаниями. Лучше скажи, с кем поеду Рудковского брать.

* * *

Поехали они втроем: Коваленко, участковый Бабаев и милиционер Трунов. Дрожки неторопливо бежали по малонаезженной, недавно просохшей улице, и не во власти взявшего вожжи Трунова было убыстрить их бег: старый милицейский мерин, за вредный и непутевый свой нрав прозванный Оглоедом, имел одну лишь скорость, которую не могли изменить никакие понукания и физические воздействия. Да и никто из пассажиров не хотел ехать быстрее. Майское солнце, уже клонившееся к терриконам шахт, было таким радостным и щедрым на приветливое тепло, что начисто забывалась казавшаяся бесконечной первая послевоенная зима, и Оглоед казался вполне приличной и благонаправной животинкой, и кривая улочка будто выпрямилась, и не хотелось думать о наглом воре Рудковском, которого предстояло сажать в капзэ и который, вероятно, тоже сейчас радовался живительному весеннему дню.

Однако Генка Рудковский не только не радовался весне, но и вообще не глядел на белый свет. Выпустив пьяную тягучую слюну, он мертвецки спал у себя в хибаре на полу возле тазика, вокруг которого разместились еще двое мужиков. Эти были тоже чуть тепленькие. С трудом повернув головы, они тупо глянули на вошедших и, не изменив позы, снова задумчиво уставились на тазик. Один из мужиков неверной рукой потянулся в него алюминиевой кружкой. Чуть подальше у большого узла, видимо, с одеждой, лежал молодой черноволосый парень. Из-под его головы растекалась густая желто-зеленая лужа. В комнате стоял рвотный запах самогонного перегара, махорочного дыма и немых пропотевших тел.

— Чисто газовая камера, — рассмеялся Коваленко. — А ну, вылезай по одному на воздух!

С черноволосым пришлось возиться больше всех. У Трунова заболели ладони, пока он тер ему уши, а тот лишь слабо мыкал и все норовил ткнуться своей широкой мордой в лужу.

— Да ну его к черту! — ругнулся Бабаев. — Весь сам-то вывожился. Пусть полежит, пока с другими во дворе разбираемся.

Разбираться пришлось долго. Медленно трезвеющие мужики что-то со слезой лопотали об ошибках молодости, штрафбате, зануде-командире, изменщиках-бабах, и Коваленко лишь с великим трудом выяснил, что мужики пришли к Рудковскому взять кое-что из тряпок своим «изменщикам» и распили магарыч.

А с чернявым разговор не состоялся. Пока Коваленко и Бабаев во дворе разбирались с пьяной компанией, он убежал через окно.

— Ну и артист! — Трунов старался не глядеть на Коваленко. — Совсемдохлым притворился...

— Что за дружок? — спросил Коваленко у Рудковского.

Тот тяжело поглядел на него и, криво усмехнувшись, ответил:

— Корефан что надо. Встретитесь, так может приветить за меня...

— И есть чем?

Рудковский прямо, в упор глянул на Коваленко, в глазах замутнела неприкрытая злоба.

— Угостит, не беспокойся. Проглотишь одну пилюльку и навек сытым будешь. Дудка у него справная.

— Дудка, говоришь? — переспросил Коваленко.

— Ничего я не говорил! — спохватился Рудковский. — Давай вези куда надо, нечего душу мотать.

Не знали о беглеце и мужики. Тот уже был у Рудковского, когда они пришли к нему с самогонкой, и ни с кем не разговаривал, молча пил. Так и свалился, не проронив ни слова.

— Пётрой его Генка называл! — вспомнил один из мужиков и опасно глянул в сторону, где ссутулившись сидел на дрожках Рудковский. — Уж так он вокруг него чечетку бил, только что в маковку не целовал!

Коваленко позвал Бабаева.

— Ты вот что, Алексей: поезжайте с Рудкой и краденым барахлом в горотдел, а я тут схожу по двум-трем адресам. Вернусь через часок.

Однако ни через час, ни через два Коваленко в горотдел не пришел...

* * *

Пингвин, Мырка и Грузин пришли на лесной склад точно в назначенное Фартовым время. Он уже ждал их, злой, нетерпеливый, с жестокого похмелья.

— Вы где же, фраера, ползаете? Я уж подумал, и не придете. Топор взяли?

— Вот! — Грузин суетливо отвернул полу плаща.

На веревочке под мышкой висел аккуратный плотницкий топор.

— Ну, двигаем! Колупнем базу, тогда врежем. Я на четверть первача с Сычихой договорился. Самогон, он в тыщу раз лучше казенки. В казенку известку кладут, а она кишки разъедает. Ну, а может, кому шампанское больше по вкусу? Ну, так это в другой раз.

Они шли по обочине дороги друг за другом, и Фартовый, шагающий впереди, чувствовал, как жадно ловят его слова идущие за ним ребята. Салажня! Пингвину и Мырке по пятнадцать, Грузин на год старше! Таких только и прибирать к рукам.

Через несколько минут должна была быть торговая база, и Фартовый построжал.

— Значит, действуем, как договаривались. Вы лезете на чердак, прорубаете потолок, я на стреме.

В тусклом освещении лампочек показалось широкое приземистое здание торговой базы. По территории с двустволкой за плечом медленно и явно, не настроенный спать, вышагивал сторож, рядом семенила короткими лапами собака.

— Ты что ж это, сучонок? — зашипел Фартовый на Пингвина. — Баки вколачивать задумал? Ты ж говорил, что сегодня старика не будет, в гости уйдет. А? Ну, а если я сейчас твоего шаршивого дедуню по темечку? Как тогда, обрадуешься? — он подкинул на ладони пистолет.

Пингвин оторопело глядел на Фартового.

— Но ведь он в гости собирался, я точно узнал. Вместе с бабой Маней. Может, кто-нибудь отговорил, не знаю.

Фартовый длинно выругался.

— Вот и сделай с такими сопляками дело! «Баба Маня, баба Маня!» — передразнил он. — Нет, не взял бы я тебя, Пингвин, в разведку. Парню пятнадцать лет, а серьезности никакой. Пустяковое задание не выполнил. За это наказывать надо, а?

Фартовый вприщур жестко поглядел на Мырку и Грузина. Те отвели глаза.

— Ну, ладно, на этот раз выношу амнистию. А теперь айда на Казанку, тут недалеко. Там у знакомой старушки тридцать тысяч в чулке. Я уже присматривался к ее хавире. Погляжу, на что вы способны. Ну, а Пингвину — главную роль. Топор-то не потерял? Без мокрухи бы, конечно, лучше, но уж как получится... А получиться должно, недаром же прозвали Фартовым.

Они уже подходили к намеченному домику на краю улицы, когда откуда-то сбоку выскочил на дорогу человек.

— Здравствуйте, ребята, не найдется закурить?

У Фартового похолодело в груди.

«Мильтон! Тот самый, который брал Рудковского, его голос. Не иначе, выследил. Так вот почему пингвиновский дедок в гости не ушел! Ну, гад!»

Он потянул за рукав Мырку, сунул пистолет:

— На, поддержи.

Деланно хохотнув, ответил Коваленке:

— А мы хотели у тебя, товарищ милиционер, попросить гарочку...

И многозначительно спросил у насторожившихся Пингвина, Мырки и Грузина:

— Ну, что, дадим товарищу милиционеру прикурить?

Коваленко, будто не уловив иронии и тайной угрозы в словах Фартового, сожалеюще сказал:

— Ну нет, так нет. Страсть курить захотелось, а махорка прикончилась. А ты откуда знаешь, что я работник милиции?

— Да уж знаю...

— Ну, коль знаешь, тогда не надо и знакомиться. Давай-ка отпустим ребят по домам, а сами побеседуем.

Парни подвинулись к Коваленке.

— Это почему же «отпустим»?

— Да кто ты такой, чтоб распоряжаться? Чо тебе, комендантский час?

Коваленко, усмехнувшись, повернулся к Фартовому:

— Ишь, как они за тебя. Поди, героем войны представился, а сам опасаясь наедине говорить,

— Ладно, подожди, хлопцы, — Фартовый отошел в сторону, к нему подошел Коваленко. — Ну, чего надо?

— Оружие есть?

— Нету.

Коваленко привычно обхлопал Фартового.

— Ладно, нету. Куда пацанов ведешь?

— С чего взял? Они сами по себе. Гуляем, беседуем, выпить мечтаем.

— Догадываюсь, о чем ты мечтаешь. Не выйдет, парень, со мной пойдешь.

— Ну что ж это такое? — возвысил голос Фартовый, и к ним стали приближаться Мырка с Грузином. — Какой-то легавый не дает фронтовику, который кровь проливал, по улице пройти, свежим воздухом подышать.

Можно было бы взять Фартового за руку, завернуть ее за спину, на это сноровки и силы хватило бы, и повести в горотдел, но Коваленко знал, что тут же на него набросятся все парни, у одного из которых он заметил за пазухой не то выдергу, не то топор, а стрелять в этих глупых еще ребят, заглядывающих в рот мерзавцу, Коваленко не мог.

И не это, он чувствовал, в конце концов, важно. Ну, скрутит он Фартового, подросток припугнет пистолетом, может, отстанут. Но отстанут, испугавшись, а не потому, что Фартовый воруа и топ-стопник. Так и останется у них этаким рисковым парнем, своим в доску.

Коваленко осуждающе покачал головой и прервал Фартового, который ощущая поддержку подошедших дружков, распалялся все больше.

— А я ведь, Петр Якшин, или как там тебя по кличке — Фартовый, что ли? — никак тебя не обзывал, хотя узнал, как догадываешься, о тебе кое-что по мелочи. Ну, например, как ты кровь проливал. На тюремных нарах ты ее терял, когда клопов на себе давил. И ни на какой фронт тебя не посылали, потому как ты сразу бы в плен побежал.

— Ты что, ты что волокешь на меня? — задохнулся Фартовый от неожиданности. — Ты докажи!

— А что доказывать-то? Покажи парням руку, как ты ее изуродовал, чтобы в армию не идти. Кажись, в сорок третьем тебя выпустили? Так ты вместо того, чтоб фронту помогать, продуктовые карточки у людей воровал. Вот ихние отцы на фронте погибали, а ты их без последнего куса хлеба оставлял. А когда победу отмечали, тоже, наверно, пил. Может, как давеча у Рудковского после кражи нажрался, когда по собственному дерьму мордой возил...

Он стоял на дороге, чуть расставив ноги в растоптанных сапогах, наклонив крупную голову, будто собираясь бодаться, говорил неторопливо, выбирая слова поувесистее, погорячее, а перед ним вплотную белели в темноте четыре лица, и нельзя было угадать их выражения.

Фартовый, которого словно парализовало от злобы, вдруг шевельнулся, нагнулся к Мырке, свистящим шепотом приказал:

— Бей в мильтона!

Мырка испуганно отшатнулся.

— У-у, сопля! Дай сам шмальну... — и не дожидаясь, когда Мырка передаст ему оружие, сам рванул из его кармана пистолет и, прежде чем Коваленко, делая к нему разделявший их шаг, опустил ногу на землю, дважды нажал на курок...

* * *

Час назад дежурный передал в областное управление составленную Кошутым телефонограмму о гибели Коваленки, и теперь в своем кабинете майор с минуты на минуту ожидал звонков из Кемерово.

Конечно, первым позвонил Юренко. Сообщив об обстоятельствах происшествия, Кошутлов вяло, блеклым голосом отвечал на уточняющие вопросы подполковника, который на этот раз разговаривал сдержанно и тихо.

— Когда узнали о происшествии, кто сообщил?

— В час ночи, товарищ подполковник. Позвонил с шахты «Капитальная» председатель шахткома Медведев, которому о выстрелах заявил один из соучастников преступления несовершеннолетний Селезнев, по кличке Пингвин.

— Клички меня не интересуют. Почему он заявил, мотивы?

— Не могу точно ответить, но Селезнев говорит, что ему показалось, будто Коваленко только ранен.

— Совесть, что ли, заговорила? Он и убийцу назвал?

— Нет, Коваленко назвал.

— Не понял. Он что, в самом деле еще жив был?

— Нет, товарищ подполковник, Коваленко был мертв. Обе пули в сердце.

— Поясни тогда мне, бестолковому!..

Кошутлов уловил в голосе Юренко знакомые ноты раздражения и представил, как он быстрее забарабанил пальцами по полированной крышке стола — его всем известная привычка.

— В кармане у Василия Филипповича нашли обрывок свежей газеты, а на нем фамилия — Якшин Петр, кличка Фартовый и адрес.

— Какое оружие у убийцы изъяли?

— Винтовку и два пистолета: ТТ, из которого стрелял, и немецкий «Лефаше».

— Грабежи на Калзагае — их?

— Видимо, нет, приметы не сходятся, но работу продолжаем. Этот Фартовый наверняка знает преступников и, думаю, назовет их.

— Конечно, работу продолжайте. Грабителей надо найти во что бы то ни стало. Раскрываемость в области ни к черту, а у вас и того хуже. А теперь вот еще ЧП. Докатались...

В трубке по-привычному зарокотало, и Кошутлов, внутренне подбравшись, спокойно и твердо перебил:

— Вы еще забыли, товарищ подполковник, спросить, женат ли погибший при исполнении служебных обязанностей лейтенант Коваленко, сколько у него детей, как помочь семье, как похоронить... А вы

о процентах, товарищ подполковник... И больше не кричите на меня, иначе я подам на вас рапорт по инстанции.

Выговорившись, Кошутлов почувствовал, как сразу же отпустила пружина, давившая его с того самого момента, когда дежурный, подняв его с постели, сообщил, что убит Василий. Он даже усмехнулся, представив, какая сейчас физиономия у грозного недоступного Юренко, разговаривая с которым, он до этой минуты не мог преодолеть постыдного чувства собственной неполноценности и холопской робости. Вспомнил, как однажды Василий сказал ему: «Ну что ты всегда дрожишь, как овечий хвост, разговаривая с начальством? Аж смотреть противно. Ты же не такой, Костя!».

Трубка долго молчала, и телефонистка даже спросила, разговаривают ли абоненты. Потом Кошутлов услышал трудные слова:

— Да, ты прав, Константин Иванович. За войну мы слишком привыкли к смерти и огрубели сердцем. Извини и спасибо. Я сам приеду на похороны Коваленко...

Кошутлов вслед за Юренко медленно положил трубку и с минуту неподвижно сидел, наблюдая за первым солнечным зайчиком на стене, затем вызвал вернувшегося из Абакана инспектора уголовного розыска Огуреева, чтобы дать ему новое задание.

ВСТРЕЧА В ДОРОГЕ

4 октября 1971 года разнорабочий совхоза «Заря» Промышленновского района Александр Сизиков по причине тяжелого похмелья опять не пошел на работу. Все его раздражало в это утро: и «Пионерская зорька» из радиоприемника, и выпученный глаз телевизора, и яркие блики солнца на полу, и звуки из кухни, где у печки спозаранок хлопотала мать.

И уж совсем некстати появился участковый Карпенко. Здоровенный ростом, громкоголосый и отчего-то веселый, он одним своим видом вызвал у Сизикова злой протест. «Ишь, нарисовался, красавец... Лыбится! Башка, поди, не трещит... Как же, здоровье бережет, битюг! А чего пришел? Что-нибудь натворил я вчера?»

— Почему не на работе, Александр Михайлович? — как будто удивился Карпенко. — Я на ферме был, ругают там тебя на все корки. Я бы не потерялся — стал бы на работу ходить...

— Чего надо? — набычился Сизиков.

— М-м, вежливостью мы не страдаем, — иронично посетовал участковый и вдруг стал серьезным, голос подтвердел. — А вот что надо. Брось свои художества, Санька, иначе снова заработаешь срок. В двадцать

лет пора за ум взяться. Ведь трезвый ты человек человеком, тихоней назовешь, а выпьешь — начинаешь выкаблучивать, кулаки распускать. Родная мать боится. Ведь сколько лет она воспитывала вас с братом без отца. Не мешайся, еще раз предупреждаю, у людей на дороге.

— А я никому свет не застилаю, своей дорогой иду! — Санька почувствовал себя очень неудобно под тяжелым взглядом участкового, но не мог сдержать раздражения.

— Да нет, ошибаешься. Дорога у всех людей одна-единственная — сама жизнь их, и хулиганам, вроде тебя, на ней места не может быть. Не разойтись, понимаешь...

— Ишь, как по радио шпарите, — съязвил Сизиков, чувствуя, однако, что ему бы сейчас помалкивать да покаянное лицо сделать. Но слова из горла выскакивали сами собой. — И чего мне на мозги капать? Кто-то там что-нибудь наделал — сразу за меня: как же, срок тянул за хулиганство. Настучать каждый может...

— Ага, на воре, так сказать, шапка горит. Да, узнал, что ты оружием стал увлекаться, ружьишко завел и уж бегал вчера с ним по улице, грозил кому-то... Придется изъять.

— Не имеете права, за ружье деньги плочены! — закричал Сизиков. — Эту... как ее?.. социалистическую законность нарушаете!

— О, каким словам научился! Не иначе, как в колонии. А вот вести себя по-социалистически, да и просто по-человечески не привык. Выпиваешь часто, драки затеваешь. А в отношении таких действует специальный указ, и называется он так: «Об изъятии огнестрельного оружия у лиц, совершающих антиобщественные поступки». Так что о законности не беспокойся. А что касается денег за ружье, то жизнь человеческая, которую ты можешь по пьянке из этого ружья порешить, дороже всяких денег.

Узкие глаза Сизикова превратились в щелочки.

— Ага, порешить бы кой-кого не мешало, развелось дешевых людейшек. Да по мне, человек дешевле стреляной гильзы!..

Карпенко изъясил у Сизикова пневматическую винтовку и обрез от охотничьего ружья шестнадцатого калибра. Не знал он, что на чердаке под разным хламом лежит давно, еще до колонии, припрятанная Санькой «тозовка» — мелкокалиберная винтовка «ТОЗ-8»...

Лишь только уехал участковый, Санька бросился в магазин. Хотя до одиннадцати было далеко, он знал, что водку ему дадут: не город, поди, все законы соблюдать. Вернувшись с поллитровкой, торопясь налил водку в стакан, выпил и, не дожидаясь, пока «захорошеет», налил еще...

Пил молча, почти не закусывал, и растрavляющие душу мысли беспорядочно возникали в его не привыкшей размышлять голове. Ему вдруг стало ясно, что все без исключения ждут не дождутся, когда он снова загремит в исправилку или сгорит от водки, попадет под машину, утонет в Инюшке — словом, сгинет с глаз, и тяжелая злоба, как грязь со дна взбаламученной лужи, все шире, все гуще расползалась в груди. В памяти всплыли все обиды: кто-то упрекнул, что негоже такому молодому парню, как он, не ходить в вечернюю школу: за плечами всего-то

четыре класса, кто-то называл лодырем, хулиганом, прогульщиком, кто-то посмеивался над его профессией швеймашиниста, приобретенной в колонии, многие просто обходили его стороной, когда он бывал «в на-строении», будто заразный он...

Вдруг он вспомнил о винтовке, ударил кулаком по столу.

— Со всеми рассчитаюсь, всех молчать заставляю!

Он взобрался на чердак, отыскал свою «тозовку», рассовал по карманам здесь же припрятанные патроны.

Мать всполошилась, увидев его с оружием.

— Что с тобой, сынок? Охолонь! Ну их всех, обидчиков! Не стоят они тебя... — запричитала она.

— Молчи! Всем молчать приказываю!

Санька вскинул винтовку и вlepил пулю в экран телевизора, прицелился еще — и пуля звякнула о какую-то железку в радиоприемнике, увидел висящий в простенке подаренный ему в день рождения фотоаппарат «Зенит» и трахнул его об пол.

— Ой, с ума сошел! — прошептала мать и забилась за печь, страшась выглянуть. Она услышала, как сын выбежал из дому и сразу же с улицы донеслись сухие щелчки выстрелов. Сизиков вел прицельную стрельбу по односельчанам.

Вдруг выстрелы прекратились. Санька незряче оглядывал обезлюдевшую улицу, медленно соображая, что ему вовсе не нужно было так вот стрелять в тех, кто попадет на мушку. У него же есть главная цель. Какое ружье он у него отобрал! Сколько обидных слов сказал! А колония?! Это же все он, он!.. И лейтенант Карпенко представился ему главным врагом всей его жизни.

Сизиков теперь знал, что ему делать. Он вывел из сарайчика мотобелосипед, к раме надежно, но чтоб ее можно было легко схватить в любую минуту, пристроил винтовку...

...Карпенко позвали к телефону, когда он, закончив намеченные дела, уже собирался поехать с фермы в Плотниково, в сельсовет. Звонили из Промышленной. Слышимость была никудышной, в трубке шипело, трещало, гудело и ухало, и Виктор с трудом разбирал слова дежурного по райотделу.

— Сейчас же... В Портнягино... Стреляет по людям (кто стреляет, Виктор не разобрал)... Группа выезжает!.. — доносились, как с того света, натужные слова дежурного.

Виктор, выбегая из конторы, привычным движением передернул затвор пистолета, поставил его на предохранитель и сунул в левый внутренний карман кителя. «Урал» легко взял с места, и вот уже остались позади широкие скотные дворы и редкие домики совхозной деревеньки со скучным названием «Вторая ферма совхоза «Заря».

Виктор, внимательно следя за дорогой, по которой машины выбили глубокие ухабистые колеи, все же успевал окинуть глазом знакомую картину золотой осени.

У берез, осин и черемухи уже стал облетать их огневой наряд, они все еще были чертовски красивы, факелами пылая над убранными пшеничными полями.

О чем он думал, милицкий лейтенант? О выстрелах, на которые спешил? А может, о том, что вот уже пять лет эти хлебобродные поля обходятся без него, неплохого тракториста и комбайнера? Странное совпадение: ровно пять лет назад час в час такого же погожего дня (он запомнил: совхоз тогда первым в районе закончил уборку) — начальник райотдела поздравил его со вступлением в ряды работников милиции. Многие тогда удивились его решению. Да и сам он толком не мог объяснить столь внезапный и ответственный шаг. Не мыслил себя без роко-та тракторного мотора — и на тебе! — сразу же принял предложение секретаря парторганизации идти работать в милицию. А ведь и родители, и деды-прадеды не расставались с землей, сначала украинской, потом сибирской. Старший брат Яков, сестры Антонина, Вера и Раиса прочно связали свою жизнь с сельским хозяйством, а вот он, получается, оказался блудным сыном в крестьянской династии. Не всегда, в-идать, человек выбирает профессию, случается наоборот: профессия выбирает человека, и неисповедимы пути, ведущие к этому событию.

Но так ли уж неисповедимы? Две страницы биографии Виктора могут, кажется, в какой-то степени объяснить его решение надеть милицкую форму.

Первая — служба в армии. Служил Виктор на Балтике, в береговой обороне, сначала старшим комендором батареи, затем комендором отделения. Ему нравился четкий, продуманный до минуты режим флотской жизни, и он никак не мог понять тех, кому в тягость был этот строгий, но мудрый распорядок.

И, однако, несмотря на внутреннюю нетерпимость к нарушителям дисциплины, изворотливым «сачкам» и откровенным симулянтам, был случай, когда он, покривив душой, встал на защиту крупно штрафованного матроса. Показалось, что более мягкое наказание поможет человеку исправиться. Суровые, хлестнувшие, как бич, слова командира Виктор запомнил на всю жизнь, а сказал тот всего-то: «Благосклонность к подлецам — дань низости, если не тяга к ней...»

Потом, когда демобилизовался, устроился на работу, и его назначили командиром сельской добровольной народной дружины, он не раз вспоминал это изречение и требовал от дружинников действий строгих, решительных, без поблажек нарушителям порядка. Дружина и была второй важной вехой на пути к милицкой профессии. Как он и ожидал, нелегким оказался новый хлеб и тем приятнее было, когда его в прошедшем году наградили Юбилейной ленинской медалью и с группой передовиков службы он посмотрел места, где жил великий человек.

Но вот теперь, как и много раз прежде, выдавший виды служебный мотоцикл мчит его на очередное происшествие, в котором некому разобратся, кроме него...

На четвертом километре он обогнал двух, уже, в-идать, порядком уставших женщин. В другой раз он не преминул бы остановиться, предложил бы подвезти: такая услуга не в тягость, а работнику милиции любая встреча с людьми на пользу. Но тревога гнала его вперед, и он еще поблагодарит судьбу за то, что на предельных оборотах рвал,

не жалея машину. Не поторопись он, беззащитных женщин наверняка повстречал бы ехавший навстречу Сизиков.

Виктор встретил его на повороте дороги в двух километрах от деревни, и с этого момента счет времени для обоих шел на доли секунды.

Сизиков на своем тарахтящем на весь мир мотовелосипеде сидел выпрямившись, со строгим, чуть ли не торжественным выражением на плоском лице. Увидев Карпенко, он резко тормознул и соскочил с седла.

Сбросил газ и Виктор. Поправляя каску, спросил:

— Ты куда, Сизиков? Что там, в деревне, случилось?

Но вместо ответа, подняв глаза, увидел прямо перед собой, на уровне глаз, зловещую черную дырку винтовочного ствола. «Фу, черт! Где же он достал мелкашку, я ж у него давеча изъял все оружие. Теперь, поди, не отберешь...» — подумал Виктор.

Те десять метров, которые разделяли Виктора и Сизикова, пуля прошла, конечно, быстрее, чем Виктор закончил эту нелепую при данных обстоятельствах мысль и успел спрыгнуть с мотоцикла, но все же, наверно, инстинктивное движение тела не позволило горячему кусочку металла ударить насмерть.

Виктор почувствовал, как что-то остро стукнуло в грудь, и тотчас неистовая, разрывающая боль ошеломила, пронзила его всего.

А Сизиков сноровисто, с тем же самым каменным выражением лица уже перезарядил винтовку, уже вскинул ее снова... Он мгновение помедлил, чтобы бить наверняка, но этого ничтожного мига Виктору хватило, чтобы двумя невероятными прыжками преодолеть разделявшее их расстояние, здоровой левой рукой схватить за направленный на него ствол винтовки, вырвать ее и машинально отбросить в сторону, в заросший кювет. Он пожалел, что не оставил ее у себя, когда увидел, что у растерявшегося было Сизикова в руке блеснуло лезвие ножа.

Но тот и с оружием сразу не решился напасть на него.

Виктор между тем с трудом сумел левой рукой из левого же внутреннего кармана достать пистолет и так же одной рукой, что без привычки тоже не просто сделать, повернул рычажок предохранителя. Все это он проделал, не спуская глаз с Сизикова, с лица которого сошло, наконец, мертвое выражение, сменившееся при виде пистолета испуганно-отчаянным.

Виктор рассчитывал, что он с перепугу даже кинется на него с ножом, но Сизиков, издав судорожный горловой звук — будто всхлипнул — вдруг бросился бежать наискосок по дороге, к недалекому березовому колку.

Поединок был выигран. По крайней мере, первая — но, как оказалось, не главная! — его половина.

Виктор только подсознательно мог предполагать, насколько трудно будет довести схватку до конца. Он вообще-то мог больше ничего не предпринимать: никуда, в конце концов, этот Сизиков не денется. Пусть бежит! Уже, наверное, и опергруппа в пути. А с него, раненого, никто и не спросил бы за это. Кроме главного и беспощадного начальства — совести!

Виктор крикнул: «Стой! Буду стрелять!» и выстрелил в воздух. Сизиков вздрогнул, но продолжал бежать, будто уверовав, что пуля не догонит его, и Виктор взял на прицел подпрыгивающую фигуру, опустив мушку ниже, к мелькающим кирзовым сапогам. Хотя с левой руки стрелять было и непривычно, Виктор был уверен, что не промахнется: Сизиков для его макарова убежал еще не так далеко. Он уже начал плавно опускать курок, но в последний момент взял чуть вбок: Санька должен понять, что стрельба идет уже прицельно, а не в воздух.

Расчет оправдался. Двух пуль, прошедших рядом с Сизиковым, было достаточно, чтобы он остановился.

Потом он так же, под дулом пистолета, неспешно, очень неспешно, отвел карпенковский «Урал» и свой мотовелосипед за обочину, в кусты. Виктор отдавал приказания как можно громче, стараясь держаться так, чтобы Сизиков не заметил, в каком он состоянии. Между тем правый бок жителя и рукав уже давно пропитались кровью, и каждое движение вызывало раздирающую боль, в голове все резче звучало тонкое комариное пенье.

Они медленно двинулись по безмолвной безлюдной дороге к деревне. Виктор ждал, что вот-вот услышит привычный шум райотдельского газика и одаст Сизикова опергруппе, и не мог предположить, что группе пришлось задержаться в Портнягине.

Сизиков уже вскоре после начала их пути стал догадываться, что истекающий кровью участковый теряет силы, но тем не менее каждая его попытка остановиться или просто замедлить темп вызвала громкий окрик. Поначалу Виктор довольно бодро покрикивал:

— Ну, что ползешь, как вошь по нитке!

Эта фраза уменьшалась с каждой сотней шагов, и под конец Виктор только и мог выдыхать:

— Шире... шаг!

В теплом мерцающем тумане перед его глазами маячила спина Сизикова, бугрилась, уходя из-под ног, ровная проселочная дорога, комариное пенье в голове превратилось в пронзительный реактивный свист, который заставлял зажать уши, упасть на землю, но, к счастью, сильнее оставался внутренний приказ: «Не упасть!» Воображение рисовало, что произойдет, если он упадет. Сизиков сразу схватит его пистолет с оставшимися четырьмя боевыми патронами в обойме и — ох, с каким наслаждением расстреляет их в него. Потом вернется к мотоциклу. Возможно, встретит тех женщин и уж, верно, не пощадит их. На вооружении пистолет и винтовка, терять нечего...

У самой поскотины, на виду деревни, Сизиков снова остановился: ноги не шли в окропленную кровью улицу — и в первый раз не услышал знакомого окрика. Он медленно повернул назад голову и увидел мутные помертвевшие глаза лейтенанта. Они исподлобья смотрели прямо на него, но наверняка ничего не видели. Карпенко стоял, плотно сжав бескровные губы, широко расставив ноги. Пистолет в руке опущен. Сизиков осторожно, чтобы не вспугнуть долгожданный момент, повернулся по-волчьи всем туловищем и сделал к нему кошачий мяг-

кий шаг. По лицу Карпенко пробежала волна, левая рука дрогнула, и пистолет медленно пополз вверх.

— Назад... Шире шаг... — по слогам произнес Виктор.

Они сделали еще с десяток шагов, потом Сизиков снова остановился, но не затем, чтобы проверить конвоира, а просто идти дальше было ни к чему.

Сначала Виктор сквозь кошмарный свист уловил шум мотора, потом различил милицескую форму на подбегавших к ним людях.

— Осторожно... на боевом взводе... — протягивая пистолет, сказал он, прежде чем окончательно потерять сознание.

из литературного „архива“

Известный поэт-сказочник П. Ершов, автор «Конька-Горбунка», написал также поэму «Сузге», в основу которой положен сказ о жене хана Кучума — красавице Сузге. Тобольский композитор Корнилов создал в 1896 г. одноименную оперу, нотная запись которой, к сожалению, не сохранилась. Это была первая опера, написанная в Сибири, сибиряком и на сибирскую тему.

* * *

Перу известного французского фантаста Жюль Верна принадлежат и три романа о Сибири. Это «Михаил Строгов», «Цезарь Каскабель» и «Найденый с погибшей Цинтии». При всех неточностях, допущенных Жюль Верном, его романы на сибирскую

тему представляют несомненный интерес для читателей.

Ж. Верн пользовался материалами известного русского ученого и писателя П. А. Кропоткина.

* * *

Гомер и Сократ, величайшие «писатели» всех времен, не написали в своей жизни ни единой строчки. Все свои произведения они держали в памяти по той простой причине, что не умели ни читать, ни писать.

* * *

В Антарктиде увековечены герои романа «Три мушкетера». Горные хребты на земле Мак-Робертсона названы Атос, Портос и Арамис.

ПРОБЛЕМА?



ДА, ПРОБЛЕМА

И. Дрейцер

Г О Р О Д А, Г Д Е М Ы Ж И В Е М

Человечество давно и бесповоротно «пестроилось» на город. Социологи, исследующие проблему урбанизации, утверждают, что с тех пор, как где-то между восьмым и третьим тысячелетиями до новой эры на территории между Босфором и Персидским заливом из оседлого земледелия возник новый тип общины, почти каждое увеличение способностей человека к коллективным действиям и к освоению окружающего его мира приводило к новым скачкам в росте городов.

Красноречивее всего об этом свидетельствует динамика городского населения. Пять тысяч лет назад горожан практически не было. В 100-м году до новой эры доля городского населения составляла менее 1 процента. На исторической глубине 1800 года она еще не достигла 5 процентов, а в 1965 году суетливые жители планеты уже превышали треть ее населения...

Все ускоряющаяся научно-техническая революция интенсифицирует и процесс урбанизации. По оценке экспертов ООН, уже

к 2000 году горожане превьсят по численности сельское население мира.

Современный город притягателен. Это прежде всего — опорный пункт научно-технической революции. Это — среда воспроизводства социально-культурного потенциала личности. С городом связан высокий уровень эффективности общественного производства. Здесь человеку предлагают широкий выбор мест приложения труда. Наконец, развитие городов оказывает благотворное воздействие на неурбанизированную часть планеты, внедряя там индустриальные формы организации экономики.

* * *

Известно, что города возникают и интенсивно развиваются там, куда направлены государственные капиталовложения. Братск и Ангарск, Тольятти и Навои, Мирный и Сургут, Набережные Челны и еще только прорисовываются на планах районов нового освоения, БАМа, в частности... Это не только вехи нашего хозяйственного развития, но и этапы градостроительной истории страны. Процесса, который, к сожалению, развивался не всегда одинаково успешно. Если повезло узбекским химикам, для которых в пустыне возведен чудесный город Навои, (а трудностей здесь, естественно, было значительно больше, чем в других местах), если столь же удачным оказался город автомобилестроителей Тольятти, то очень уж «не вышли» нефтяная столица Сибири — Сургут и легендарный город энергетиков Братск.

Первый, как известно, «разменяли» на ряд поселков, ставившихся «своими» хозяевами. Застройка же второго, по признанию самого Госгражданстроя при Госстрое СССР, «...однообразна и архитектурно невыразительна, выполнена без необходимого учета природных факторов: Братского моря, лесных массивов, рельефа местности («Известия» от 2.VI.1973 г.).

Перечисленные города строились, что называется, «от нуля». Спора нет, всякое новое строительство трудно: слишком уж велика глыба стоящих перед проектировщиками и строителями проблем. И если в этом случае новый город не оправдывал надежд, то в первую очередь винить приходится проектировщиков, которые оказывались не на высоте и просчеты которых очень уж накладны.

Но если в условиях нового строительства есть возможность предупредить многие ошибки в мастерских архитекторов, то объем трудностей неизмеримо возрастает,

когда речь идет о расширении уже существующих городов, строившихся к тому же не по самым лучшим проектам.

Градостроительная история Кемеровской области хорошо иллюстрирует оба случая.

* * *

По масштабам и интенсивности градообразовательных процессов Кузбасс занимает первое место в Сибири и одно из ведущих в стране. Система городов Кузбасса по численности населения находится в одном ряду с крупнейшими городскими системами страны: Подмосковной, Донецкой, Свердловской, Челябинской, Горьковской и Ростовской.

Здесь я позволю себе процитировать одно место из книги «Будущее городов Кузбасса» Г. А. Глотова и Е. Н. Перчика, вышедшей в 1972 году в Кемеровском книжном издательстве: «Города Кемеровской области обладают несомненными признаками системы, являясь звеньями единого производственно-территориального комплекса, сформировавшегося на основе добычи угля. Экономически теснейшим образом взаимосвязанные между собой, эти города либо дают уголь (наиболее многочисленная группа гордских поселений), либо ведут его переработку на металлургических и химических заводах, либо производят из него электроэнергию, либо обеспечивают транспортные связи Кузбасса с другими районами, либо, наконец, являются местом размещения вспомогательных предприятий, в той или иной мере связанных с обеспечением промышленного комплекса».

Не вдаваясь в анализ социальных последствий урбанизации Кузбасса — темы, которая еще ждет своего исследователя, — рассмотрим градостроительный «срез» этой проблемы. Иными словами, попытаемся оценить архитектурно-художественный уровень наших городов. Посмотрим, хороши ли их отдельные объемно-планировочные решения. Будем помнить при этом, что в области промышленного строительства многое из воздвигнутого в Кузбассе обрело всеобщую известность.

НЕ ДОМОМ ЕДИНЫМ...

Давно уже хочется посетовать печатно на нашу досадную безучастность к архитектуре городов, которые мы строим в Кузбассе, да и не только в Кузбассе. К искусству создавать ту самую жизненную среду, «вторую

природу», где мы проводим всю жизнь.

Нас волнуют многие стороны жизни, и это, безусловно, хорошо. Мы очень живо обсуждаем необходимость беречь мужчин и проблему оптимальной высоты «платформы» у женщин. Обстоятельного анализа удостоиваются средней руки спектакли, которым и жить-то неполный сезон, и фильмы-однодневки, сохраняющиеся в нашей памяти не дольше их экранной жизни.

А часто ли мы «рецензируем» наши новые улицы? Или делаем разбор наших архитектурных премьер? Между тем, на наших глазах вырастают города. Не простая совокупность жилплощадей, а чрезвычайно многоплановые социальные организмы, представляющие собой сложные экономико-географические, архитектурные, инженерные и культурные комплексы.

Разумеется, нынешние масштабы строительства не позволяют так свободно выщипывать полотно города. Благо индустриализации домопроизводства — и от этого никуда не уйти — обернулось некоторым злом эстетическим: значительно оскудела палитра зодчих. Значит ли это, что поточность напрочь исключает красоту и что серость и одинаковость — неизбежные спутники все ускоряющегося строительства городов?

«Высокоиндустриальное строительное производство, — возражает доктор архитектуры А. Полянский, руководитель авторского коллектива комплекса Нового Артека, — является активным стилеобразующим фактором, оно ведет к выработке общих устойчивых стилистических черт, присущих разным типам зданий, при обеспечении в пределах этой общности функционального и эстетического (выделено нами. — И. Д.) разнообразия». (А. Полянский. Синтез искусств и строительный стандарт. В сб.: «Синтез искусств и архитектура общественных зданий», М., «Советский художник», 1974, стр. 37).

Современная градостроительная практика очень убедительно подтверждает правомерность такой оценки. Ведь мог же появиться в шестидесятые годы получивший всеобщую известность Жирмунай в Вильнюсе. Или воздвигнутый уже в нынешнем десятилетии там же Лаздинай, заслуженно удостоенный высшей национальной премии? И не в это ли время выросли у нас Зеленоград и Академгородок под Новосибирском, Мустамяз в Таллине и уже упоминавшийся Навои в Узбекистане?

А ведь основу застройки этих городов и районов составляют здания из стандартных панелей, выпускаемых на потоке!

Наше исследование целесообразно, пожалуй, начать с разговора о Кемерово. Ведь в конечном счете многие проектно-планировочные издержки в градостроительстве Кузбасса получили концентрированное выражение в застройке областного центра.

460-тысячный Кемерово по типу перспективного развития относят к сдержанно развивающимся крупным городам с ограниченным размещением новых предприятий. Приобретая статус областного центра в тяжком 1943 году, город начал интенсивно развиваться лишь в конце пятидесятых. История планировочного проектирования города (с 1918 по 1970 год был выполнен добрый десяток проектов) не могла не отразиться на его облике. Одноэтажный в своей основе, с небольшими вкраплениями 3—5-этажных зданий в центре, город тяготел к промышленной зоне на левом берегу Томи.

Еще 12—15 лет назад при первом знакомстве он вручал своим гостям довольно неприглядную визитную карточку: приехавшего по железной дороге встречало уютное здание вокзала в стиле «не до хорошего», за которым по обе стороны узкого переулка шли нестройные ряды привокзальных служб.

Эта встреча (хорошо помню по собственному впечатлению) положительных эмоций не вызывала. Тем более, что первое впечатление усиливалось очень уж не городским видом даже центральной части города со своеобразной «планировочной» доминантой — весьма живописной лужей.

С тех пор город неузнаваемо изменился. Стал значительно выше и заметно раздался в плечах. Приобрел новые профессии и namного похорошел. Приятно изменили его силуэт «высотки», становящиеся уже своеобразным градостроительным штампом в архитектуре наших дней.

Строим много и в спешке строятельных будней не всегда успеваем замечать, хорошо ли строим. Решая грандиозную по своим масштабам социальную задачу обеспечения всех жильем, упускаем из виду одно существенное обстоятельство: сегодня мы вкладываем совершенно иной смысл в понятие «удобное жилище». Нас уже не удовлетворяет просто получение отдельной квартиры для каждой семьи. Мы пришли в семидесятые с новыми критериями качества жилья.

Существенно здесь и другое. Даже если пренебречь нуждами сегодняшними, это ведь по возводимым сейчас домам будут судить потомки о нашей градостроительной культуре.

* * *

Очень непросто построить хороший дом, но во много раз сложнее выбрать ему соседей, увязать его с общим компоновочным решением квартала. Речь идет о том сложном понятии, которое называется ансамблем — этой высшей математикой градостроительства. И здесь, нам кажется, больше всего издержек в формировании облика кузбасских городов, в том числе и областного центра.

Когда внимательно анализируешь отдельные сочетания домов (сознательно не пользуясь термином «ансамбль»), создается впечатление какой-то сиюминутности решений, отсутствия взгляда в завтра. Чем иным, как не поспешностью, можно объяснить такое неудачное, на мой взгляд, решение ряда площадей и скверов?

Основу планировки площади Волкова, например, составляют три общественных здания: политехнический институт, филиал института азотной промышленности и областная научная библиотека. Нужно ли было завершать ее композицию двумя жилыми домами, фасады которых часто декорируются... висающим на балконах бельем?

Очень существенны просчеты в планировке формируемого на наших глазах ансамбля, который образуется плавательным бассейном, строящимся концертным залом и зданием университета. Начать с того, что не совсем понятно, почему градостроители «поссорили» филармонию с университетом, отвернув от него фасад концертного зала. Далее, целесообразно ли было застраивать жилыми домами пространство, примыкающее к университету, если уже сегодня его площади не позволяют разместить всех факультетов. А ведь в перспективе этот самый молодой вуз Кузбасса будет наращивать свои силы. И, наконец, вовсе уж не понятны мотивы, по которым здесь разместили 12-этажный жилой дом, явно «выпадающий» из ансамбля. Если авторы трактуют его как своеобразную вертикальную доминанту квартала, эдакий высотный акцент, то такой акцент, пожалуй, подчеркивает только... поспешность принятого планировочного решения. (При всей тесноте университетской площадки новый учебный корпус приходится по этой причине возводить пятиэтажным.)

Названные здесь примеры (их перечень, к сожалению, можно легко продолжить) относятся к центральной части города. Трудность ее застройки усугублялась тем, что большинство решений приходилось вписывать в уже сложившуюся структуру. Тем

деликатнее нужно было подходить ко всякого рода «вмешательствам» в живую ткань города.

Здесь-то и сказалось отсутствие хорошо разработанной стратегии застройки города, позволяющей выбирать оптимальные решения и в необходимых случаях резервировать некоторые участки до лучших времен. Практика же реконструкции центра дает основание думать, что общая планировочная концепция города довольно зыбка и подвержена воздействию ряда случайных факторов.

За последние несколько лет обрела новое качество крупнейшая магистраль города — проспект Ленина. Западный створ его образует здание железнодорожного вокзала. Едва ли можно считать удобной транспортную развязку привокзальной площади, примыкающей к Кузнецкому проспекту, — магистраль с очень интенсивным движением.

По этой же причине представляется не совсем удачным размещение цирка в заискитимской части проспекта. Выход зрелищного учреждения на транспортную магистраль сопряжен с определенным дискомфортом. (Вспомним, сколько нареканий вызвало строительство чудесного здания театра С. В. Образцова на Садовом кольце столицы.) Функциональная несовместимость здесь очевидна.

Сомнительна также правомерность ориентировки части цирка (вспомогательные службы) на проспект. Это создает серьезный диссонанс с архитектурой примыкающих зданий. Тем более, что геометрия основного объема позволяла принять иное планировочное решение.

«ПРОСЧИТАВШИСЬ С ГЕНПЛАНом, НАПЛАЧЕШЬСЯ С ГОРОДОМ»

Разговор об архитектурном облике Кемерова в этом месте будет ненадолго прерван, чтобы показать на примере застройки Междуреченска, к чему может привести плохая организация проектно-планировочных работ. Город, население которого уже сегодня приближается к 100 тысячам, расположен в Мысковско-Междуреченском промышленном районе (юго-восток Кузбасса), характеризующемся довольно сложными природно-топографическими условиями.

При плохой проветриваемости междуречья — неширокой котловины, образуемой у впадения Усы в Томь — очень важно было решить вопрос централизованного теплоснабжения города. Очевидно, экономически наиболее целесообразным было бы проведе-

ние теплотрассы от находящейся в нескольких десятках километров от города Томусинской ГРЭС, потому что даже сооружение централизованной котельной в черте города не решает проблемы очистки воздушного бассейна. Кстати, город и станция «начинались» примерно в одно и то же время. И это расстояние, при ином планировочном подходе, могло оказаться меньшим.

Расположенный в районе уникального по своим запасам и горногеологическим условиям месторождения коксующихся углей, город этот, несмотря на очень тесную площадку, мог бы стать уникальным и по своему архитектурно-художественному облику. Поручкой тому — совершенно необычная ландшафтная ситуация. Мог бы... но не стал. Потому что при его застройке использованы те же подходы, что и для расположенной, к примеру, на совершенно плоской площадке Юрги на северо-западе области. Банальность объемно-планировочной разработки усугубилась еще и тем вдвойне печальным обстоятельством, что город «ощетинился» десятками труб домовых котелен, которые, отнюдь не способствуя улучшению его силуэта, ухудшают атмосферу.

Не могло не сказаться на характере застройки города и то, что его проектирование велось в несколько этапов. При этом с 1948 по 1959 год проектно-планировочные работы выполнял отраслевой институт Сибгипрошахт. (Лишь в 1959 году разработка проекта планировки района была поручена специализированному институту Гипрогору.)

Но вернемся к прерванному разговору о Кемерове. Принятые в городе темпы жилищного строительства (с 1975 года должно вводиться около трети миллиона квадратных метров) сделали очень острой проблему транспортных связей.

Город вытянулся вдоль основной композиционной оси — реки Томи — уже на много километров. Разумеется, застройка свободных территорий заманива: расковывается фантазия зодчего, появляется возможность предлагать большее число композиционных вариантов, свободнее варьировать типами выбираемых для застройки зданий.

Но ведь есть здесь и своя обратная сторона: чаще всего такое решение оказывается неконкурентоспособным с реконструкцией уже сложившихся районов одноэтажной застройки, в которых имеется необходимый набор инженерных коммуникаций. Таков лишь экономический эффект.

Не менее важен здесь и эффект социальный. Думается, что предельное удаление районов новой застройки лежит отнюдь не

в зоне экономически целесообразных границ. В связи с ростом городов особую актуальность приобретает вопрос о затратах времени на передвижение к месту работы и домой. В наиболее крупных городах области, в том числе и в Кемерове, уже не выдерживаются предельные нормы, составляющие 45 мин. По данным Кемеровского облисполкома, в Новокузнецке, например, почти 15 процентов трудящихся затрачивают на эти нужды больше указанного времени («Кузбасс» от 27 марта 1974 года).

В этих условиях едва ли можно признать разумным преимущественное развитие свободных территорий (сказанное, разумеется, не относится к зонам повышенной санитарной вредности).

Очевидно, в градостроительном отношении предпочтительнее оказался бы вариант реконструкции центра с использованием домов повышенной этажности. Увеличение плотности застройки при этом обернулось бы не только сокращением затрат времени на так называемые трудовые поездки. Концентрация «соцкультбыта» — тоже существенный резерв экономии внебюджетного времени. А ведь сегодня почти треть пригодных для застройки территорий города занята одноэтажными домами и средняя плотность застройки еще не достигла 1000 квадратных метров на гектар.

Именно этими соображениями продиктован вывод, к которому пришли проектировщики из Гипрогора, просчитавшие четыре варианта расселения (цитирую по записке к генплану):

«В условиях города Кемерова переход на массовое строительство домов повышенной этажности улучшает условия расселения, дает экономии территории и экономически целесообразен по сравнению с 5-этажной застройкой».

Сейчас этот вывод уже реализуется в повседневной градостроительной практике — генеральный план развития города до 2000 года утвержден правительством, и высотная застройка становится нормой. Основной строительный плацдарм города — Завсикитимский район — на 60 процентов будет состоять из домов повышенной этажности (по городу в целом — 40 процентов).

Еще одно обстоятельство. Весьма тяжелым на чаше весов сравнения вариантов оказывается фактор запаздывания «соцкультбыта», некомплектная сдача микрорайонов. Если до начала работы матери приходится отвозить одного ребенка в детский сад, расположенный в центре города, а другого — в ясли, находящиеся в противоположной стороне, едва ли такая транс-

портная схема покажется ей привлекательной.

А вот упоминавшийся уже отчет облисполкома содержит такие данные: только в трех новых микрорайонах Новокузнецка к моменту сдачи жилья не построено 14 детских учреждений, 5 школ, 12 предприятий торговли. И если из-за напряженного бюджета еще иногда не хватает средств на строительство школ, то чем можно оправдать такой факт: 1,4 млн. руб. не было освоено в 1973 году из отчислений на встроженные помещения торговли? Стало уже печально привычным зрелищем: давно кипит жизнь на всех этажах большого дома, и лишь бельма витрин первого этажа или вынесенных объемов выпадают из этого ритма, создавая очень неприятный диссонанс. (В Кемерове есть высотные дома, нижние этажи которых не сдавались на протяжении 6 лет.)

...Получивший всеобщую известность Лаздинай — новый жилой район Вильнюса, об архитектурно-художественных достоинствах которого уже много писали, может служить эталоном и хорошей организации строительства. Будущие жильцы района получали здесь ордера на вселение только после завершения всех работ по благоустройству. В районе, где проживает 42 тысячи человек, — десять детских садов, три школы (каждая по особому проекту!), два торговых центра и несколько магазинов, две поликлиники, ресторан «Эрфурт» с фирменными блюдами немецкого города-братима; есть кинотеатр, аптека, службы быта.

При свободной планировке района дома не расставлены хаотично, а сконцентрированы в группы, образующие отдельные ансамбли. Выразительность силуэта района усиливается тем, что дома разной высотности (а их здесь пятнадцать типов!) очень удачно вписываются в изрезанный рельеф местности, создавая удивительную гармонию с окружающей природой.

От центра района к отдельным домам расходятся пешеходные аллеи, стекающиеся затем узкими дорожками к подъездам. Обеспечению высокого уровня психологического комфорта способствует то обстоятельство, что центральная транспортная магистраль опущена ниже жилых кварталов, огибают их.

Видимо, отнюдь не случайно одна из магистралей района названа улицей Архитекторов. Когда знакомишься с Лаздинаем, нельзя не проникнуться благодарностью к людям, чьим талантом создана эта рукотворная красота. Впрочем, будем справедливы

и разделим наши добрые чувства между зодчими и строителями. Великолепный город-спутник в районе вильнюсских орешников (Лаздинай по-литовски) стал таким потому, что строители хорошо понимали архитекторов, а не усматривали в их требованиях блажь, которой можно пренебречь.

...Хорошо помню сетования моего друга-архитектора, сдававшего гостиницу «Кузбасс» в Кемерове. Особенно тяжелыми были дни, когда оформлялись интерьеры.

— Мне иногда кажется, что не ходи мы здесь с утра до ночи, все было бы сделано, как бог на душу положит...

— Но есть же проект?

— Так ведь последнее слово все равно за снабженцем. Оформительский бал-то правит он...

Вспоминая этот довольно грустный диалог, не могу отделаться от мысли, что устами моего друга глаголила истина. Очевидно, одна из основных причин очень низкой архитектурно-художественной выразительности наших городов — в необязательности, какой-то факультативности предписаний зодчего, создающего архитектурный образ дома. (Приходится только сожалеть, что в условиях Кузбасса еще просто преждевременно говорить о синтезе искусств, но об этом разговор ниже.)

МАЛЫЕ ФОРМЫ — БОЛЬШИЕ БЕДЫ

Облик современного города, как известно, формируется не только крупномасштабными композициями в его среде (первый архитектурный план). Здесь не менее важен и второй план — архитектурная организация небольших пространств, прилегающих к жилым и общественным зданиям. Значение этого второго плана трудно переоценить. Малые архитектурные формы создают ту самую уютность, которая так необходима для отдыха человека. Они являются неотъемлемыми элементами первого архитектурного плана, дополняя и завершая его, а иногда и скрывая его недостатки (вспоминается грустная шутка Райта о том, что врач может похоронить свою ошибку, а архитектор — лишь прикрыть зеленью).

Не этот ли второй план сообщает какую-то интимность скверу на площади Пушкина в Кемерове с монументом поэта в центре? Организация архитектурного ансамбля площади с удачным вторым планом компенсирует даже некоторую камерность, несовершенство фигуры поэта с ее окружением.

К сожалению, таких примеров не так уж много. Скорее даже следует говорить о какой-то серьезной диспропорции между первым и вторым планом, как, впрочем, и о художественной невыразительности, бедности экстерьеров наших городов.

И если оголенность новых микрорайонов еще можно объяснить их молодостью, то вовсе уж непростителен архитектурный аскетизм давно обжитых районов. Очень невыразительна архитектура малых форм любименного места кемеровчан — Притомской набережной. Какой-то налет бедности, провинциальности на всех ее деталях. И на оштукатуренном кирпичном парапете, ежегодно покрывающемся очень живописными заплатами. И на фигурах спортсменов у малой лестницы — этих шедеврах художественного ширпотреба...

Даже поверхностный анализ многих объемно-планировочных решений городов областного подчинения, и особенно угольных, обнаружил бы еще более досадные издержки.

Думается, все беды здесь проистекают от отсутствия комплексного или, как теперь принято говорить, системного подхода к застройке городов. Сначала мы строим, и лишь затем проектируем некоторые формы второго плана. И начинаем думать о средствах монументального искусства и малоформной архитектуре. А такое смещение во времени жестоко мстит затем пестротой и рыхлостью решений.

Большая беда наших малых форм — в их неорганичности, чужеродности, случайности. Любой вновь возводимый квартал очень быстро обрастает стендами, щитами, киосками... «с чужого плеча». Еще одна издержка некомплексного проектирования. Особенно ощутима эта нецельность на магистралях с большим числом высотных домов.

ГОРОДУ НУЖЕН ХУДОЖНИК

В условиях переживаемого сейчас архитектурой противоречия между искусством и индустриальными методами домопроизводства неизмеримо возрастает роль планировочного фактора, того самого единообразия в деталях и движении в целом, о котором говорил Ле Корбюзье.

Вспомним, у Витаутаса Чеканаускаса, под руководством которого проектировался Лаздинай, было 15 типов жилых домов, что уже само по себе обеспечивает большую объемную выразительность района. Возможности кузбасских градостроителей — увы! — скромнее.

Сегодня кемеровский архитектор раскладывает «пасьянс» из четырех типов зданий. Завтра их будет шесть. Почти втрое меньше, чем у его вильнюсского собрата.

Каждая новая серия «пробивается» на домостроительных комбинатах очень тяжело. Да это и понятно. Нужна новая оснастка. Неизбежны потери времени и ресурсов на период освоения. Но опять же, как быть с выразительностью? В которую, правда, не поселить лишнюю семью. Так ведь не домом единым...

Возвращаясь к разговору о роли планировочного фактора, нужно отметить, что динамизм объемно-планировочных решений, «движение в целом», если воспользоваться терминологией Корбюзье, и снимает частично это противоречие между искусством и индустрией. Лишь частично, разумеется, и эту мысль важно подчеркнуть, потому что предельный аскетизм архитектуры дома, собираемого из стандартных панелей, усиливает значение и ряда других факторов, в том числе синтеза искусств, обеспечиваемого творческим союзом архитектора и художника-монументалиста, выступающего полноправным партнером первого.

Если попытаться оценить участие монументалистов... Впрочем, точнее будет говорить об их неучастии, о прискорбно низком вкладе кузбасских художников в создаваемую градостроителями жизненную среду. Доказательства этому, что называется, на лице наших городов.

Никак не удастся усадить за один стол архитекторов и художников, хотя такое сотрудничество могло бы обернуться значительным повышением уровня архитектурно-художественной выразительности городов.

Градостроители сетуют: местное отделение Союза художников — неуправляемая организация. Попытки привлечь их к оформлению областного центра оказываются безуспешными. Они с большей охотой выполняют заказы предприятий или работают в малых городах, где требования ниже.

А вот сетования художников: город отвергает большинство наших предложений. В таких условиях очень трудно работать. В Новокузнецке мы сумели найти общий язык с проектировщиками, и там удалось кое-что сделать. Больше — в интерьерах.

Едва ли имеет смысл продолжать перечисление взаимных упреков. Занятие это весьма неприглядное, а главное — бесполезное. К тому же не остановить ведь столь стремительного роста городов до лучших времен, пока не будут наведены мосты

взаимопонимания (а может быть, и дружбы) между представителями столь близких по духу и конечным целям искусств.

Вот и возводятся совершенно безликие кварталы жилых домов, в которые вкрапляется не обремененный никаким монументальным искусством «соцкультбыт». Справедливости ради нужно отметить, что в последние несколько лет однородность градостроительной палитры слегка нарушена. Сборные дома улучшенных серий выпускаются с необходимым цветовым и фактурным «довеском», что в какой-то мере компенсирует колористическую недостаточность города, частично утоляет цветовой голод. Что же касается домов кирпичных (а их, по разным оценкам, еще строится от 10 до 15 процентов от общего объема), то они продолжают оставаться в большинстве своем необлицованными. Исключение составляет лишь часть общественных и административных зданий.

Однако мы отклонились от разговора о монументально-декоративном искусстве. Область, увы, не богата примерами синтетических решений. То немногое, что сделано, — отдельные монументальные вставки. Зачастую читаемые довольно плохо. Случаи комплексного оформления зданий в областном центре, к примеру, можно перечесть на пальцах одной руки. Чуть больше сделано в Новокузнецке. Работы в экстерьерах крайне редки. При этом живопись решается только на плоскости, а не в пространстве. Да и может ли быть иначе, если отсутствует комплексный подход...

Так получилось, к сожалению, с Дворцом спорта азотнотукового завода в Кемерове. Крупномасштабное мозаичное панно в его экстерьере несоразмерно свободным плоскостям здания. Кроме того, художественные элементы таких размеров хорошо воспринимаются, если несущий их объем расположен на площади. Дворец же этот втиснут в тесное пространство с очень плохим обзором.

Городской декор... Излишне говорить о том, насколько повышается его роль в условиях современной архитектуры.

Очень емкое понятие городского декора создают и цветовое решение фасадов, и средства монументального искусства, о которых уже шла речь, и набор визуальных коммуникаций, и освещение. О каждом из этих компонентов в декоре наших городов можно писать пространственные исследования.

Почему, к примеру, выбор цветовой гаммы фасадов отдается на откуп малярам или поставлен в зависимость от контюнктуры снабжения материалами? Ведь

именно к такому выводу приходишь, анализируя колористические решения многих центральных улиц (уже не приходится говорить о городской окраине).

Кто, скажем, санкционировал покраску фасада плавательного бассейна в Кемерове, облицованного силикатным кирпичом? И на каком художественном или градостроительном совете обсуждалось «обеспечение» дома на привокзальной площади Белова композицией из своеобразной «мозаики» — чередования красного и силикатного кирпича в облицовке? В духе имевшего в старину широкое хождение обычая помечать фронтоны дома годом, когда его ставили. Так то ведь только деталь фронтона, а в наши дни размахнулись на всю плоскость фасада пятиэтажки. Такое «художество» и зеленью не прикроешь...

В эстетической организации современного города значительную роль играют средства визуальной коммуникации. Сегодняшняя улица предъявляет прохожему разнообразную информацию, которая необходима ему для правильной ориентации. Этой информации, к сожалению, бывает слишком много. (По данным специальных исследований, проводившихся за рубежом, даже пассивное ее восприятие на улице современного города достигает 25 процентов в структуре причин общей утомляемости.)

Улицы кузбасских городов, включая центральные, сегодня еще не стоят перед угрозой информационного «взрыва». Есть признаки другой опасности, которую мы еще не научились оценивать количественно. Можно определить уровень шума и вибрации, загазованности и запыленности воздуха. Нам известны жизненно опасные параметры этих вредных факторов. А как оценить пагубное влияние пошло оформленной витрины магазина или аляповатого рекламного щита? Не ввести ли для этого специальную единицу измерения, скажем, в 1 халтуру? Вот как только быть с эталоном?..

А невыразительность и стилевое однообразие графики нашей световой рекламы? И пестрота вывесок и стендов?

Трудно представить себе положение человека за рулем автомобиля, который в каждом городе встречал бы новые дорожные знаки. А вот, выйдя на тротуар, наш автомобилист попадает в такое многостилье информации, от которого становится неуютно. Ведь если не считать службы быта, чья лапидарная эмблема начинает повсеместно утверждаться, в этом деле еще продолжает царить хаос.

Вывески, световая реклама еще излишне многословны, перегружены сложными изобразительными элементами или напрочь лишены оных. Совершенно не учитываются психофизиологические особенности восприятия цвета и размеров шрифта. Здесь же — и отсутствие системного подхода к оформлению разнообразной графической информации. Того, что создает фирменный стиль и способствует повышению эстетического уровня лица города.

КОГДА УРБАНИЗАЦИЯ — ЗЛО

В самом начале этих заметок речь шла о благотворном воздействии города на развитие личности, о том, что он стимулирует высокую социальную активность людей. Положительные последствия урбанизации в этом плане несомненны, и их трудно переоценить.

Однако этого не скажешь о городе как среде физического существования человека. Здесь уже приходится говорить об издержках урбанизации, приведших к нынешнему экологическому «взрыву» — закономерному следствию давно развивающегося недуга, имя которому — нарушение естественного равновесия в биосфере.

Урбанизация и сопровождающий ее рост масштаба промышленного производства приобретают настолько угрожающий характер, что отрицательные их последствия вызывают законное беспокойство, очень живо и заинтересованно обсуждаются на национальных и международном уровнях.

Сейчас широким фронтом ведется исследование биологических, технических, экономических и других аспектов проблемы охраны внешней среды. Но ведь комплексная проблема защиты биосферы — это прежде всего проблема градостроительная. Выбор стратегии застройки города предопределяет, в конечном счете, тот уровень комфорта, каким будут характеризоваться отдельные его районы.

В условиях городских систем с высокой концентрацией промышленности, какой является кузбасская, планировочными средствами и средствами ландшафтной архитектуры можно в значительной мере компенсировать издержки избыточного загрязнения атмосферы, обусловленного несовершенством технологий.

Сейчас очень много делается для того, чтобы воздух и вода в Кузбассе были чистыми. За последние восемь лет на эти цели было израсходовано 192 миллиона рублей. Введено в действие 167 сооружений по очистке сточных вод и 26 систем водо-

оборотного промышленного водоснабжения. Значительно увеличены мощности биологической очистки.

Еще больше предстоит сделать. До 1980 года предусматривается выполнение 215 крупных мероприятий по борьбе с загрязнением воздушного бассейна Кемерово и Новокузнецка и водного бассейна Томи.

Общая стоимость этих мероприятий — около 400 миллионов рублей.

Но ведь на тернистом пути к безотходной технологии (по оценке академика И. Петрянова-Соколова, 98 процентов исходного сырья промышленности переводит в отходы, выбрасывает в окружающую среду, что само по себе является расточительством) разумное планирование города также может явиться фактором оздоровления биосферы.

Планировочная ситуация, сложившаяся в ряде городов Кузбасса, к сожалению, изобилует примерами забвения этого принципа. Основной промышленный район Кемерово, например, который начал складываться еще в годы первой пятилетки, образует зону значительной санитарной вредности. В последнее десятилетие в противоположной, заискитимской части города, формируется второй промышленный район (заводы синтетического волокна, химического машиностроения и др.). В перспективе возникнет третий промышленный район, на правом берегу Томи (на базе проектируемого здесь завода тяжелого машиностроения).

Если иметь в виду наличие предприятий в южной и северной частях города, то и элементарной географической подготовки достаточно, чтобы понять: с созданием этого района вокруг города замкнется довольно плотное индустриальное кольцо с зонами различных уровней вредности. Тогда уж не до учета преобладающих направлений ветров: любое из них окажется опасным для города!

Далеко от идеального и зонирование крупнейшего города области — Новокузнецка, выросшего на базе Кузнецкого металлургического комбината. И это в условиях, когда средний коэффициент занятости промышленных территорий по области не превышает 50 процентов!

Здесь, пожалуй, самое время коснуться еще одного аспекта рассматриваемой проблемы. В градостроительной практике кузбасских зодчих есть своя целина, которую еще предстоит осваивать. Речь идет о ландшафтной архитектуре. Природно-топогра-

фические условия наших городов создают благоприятные предпосылки для широкого использования возможностей этой области зодчества (если, разумеется, не сводить ее роль ко всяческому увеличению площади зеленых насаждений).

Правильная организация зеленого устройства может принципиально изменить архитектурный облик города. В местах же с повышенным уровнем промышленных вредностей интенсивное зеленое строительство, кроме эстетического, выступает еще и как фактор охраны внешней среды. Зеленые насаждения — своеобразные легкие городов. Так вот, если воспользоваться этой расхожей метафорой, приходится констатировать довольно низкую жизненную емкость легких у кузбасских городов.

Скажем, в Кемерово — городе с преобладанием предприятий химической промышленности — удельная обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования ниже нормы, установленной Госстроем СССР, а общая их площадь еще несколько лет назад была меньше, чем на Омском нефтеперерабатывающем комбинате. Создание же санитарно-защитных зон, которыми жилые районы будут отделены от химических заводов, пока еще — дело будущего.

Попробуйте найти в штатных расписаниях организаций, имеющих отношение к развитию наших городов, должностные деонтологов! Между тем, в городах Украины, например, где учрежден институт главных ландшафтных архитекторов, наряду с ними существуют еще и инженеры по озеленению.

Реализация комплексной программы повышения жизненного уровня народа связана с пересмотром многих устоявшихся взглядов и представлений. В том числе, разумеется, и в вопросах организации среды обитания человека.

Несмотря на все препятствия и трудности, новая эстетика градостроительства уверенно торит себе дорогу в жизнь. Путь «вхождения» в нее нелегок, но его необходимо пройти. Таково веление времени.

Мне ни в коей мере не хотелось принизить тот поистине гигантский градостроительный размах, который характерен для Кузбасса наших дней. Однако строить много отнюдь не исключает возможности и необходимости строить хорошо. Эти заметки писались от убеждения, что нельзя возводить неудобные жилища и некрасивые города, исповедуя при этом принципы гармонизации и гуманизации жизненной среды.

М. Кушникова

ПОЛОВЕКА С ПАЛИТРОЙ

Творчество, которое длится пятьдесят лет, — много это или мало? Мало, чтобы сказать: «художник исчерпал себя». Достаточно, чтобы сказать: «художник отобразил свою эпоху».

Недавно общественность Кемерова отмечала семидесятилетие художника Юргиса Прейсса. На его персональной выставке рядом с радушным хозяином стояли портреты. Они обступили посетителей со всех сторон, взволнованные, вдохновенные, задумчивые. Они принимали, приветствовали, повествовали.

А в мастерской словно открылись кулисы большой сцены, на которой должно свершиться торжественное представление. Представление в полном смысле слова. Потому что Юргис Прейсс как бы представляет нас своим героям и представляет их нам. Звучат имена, профессии, города. Художник Сикейрос. Певица Гизелла Мэй, Клаузель, радист легендарного Рихарда Зорге. Пикассо. Берлин. Цюрих. Париж. Люди, изображенные на портретах Прейсса, принимают нас у себя, вводя в свое время и в свои обстоятельства.

— Вы были знакомы со всеми этими людьми? — такой вопрос Прейссу задают неоднократно.

Да, он знал их всех. Более или менее близко. Как писал? Некоторые позировали, некоторых писал по памяти, а некоторых — через много лет после встречи, по этюдам и зарисовкам, когда улеглось первое восприятие в душе художника, сформулировалось отношение к ним, произошел как бы синтез впечатления. Тогда и создавались портреты, в которых передана сущность сущности человека, для художника наиболее важная.

Иногда дополнительным материалом служили фотографии, репродукции из журналов.

Сколько раз приходится слышать протесты: нельзя же писать правдивые портреты «по впечатлению», по фотографиям, если модель не позировает столько-то и столько-то раз. Сейчас, глядя на серию портретов, которые можно было бы назвать «Большой историей», сформулировался ответ. А почему нет? Почему не оправдан такой метод? Если художник во время оно писал за два-три двухчасовых сеанса «костяк» будущего портрета, был он больше или меньше знаком с портретируемым, чем Прейсс? Например, когда он пишет портрет Сальвадора Альенде под впечатлением трагических событий, взволновавших весь мир? Гойя писал групповой портрет испанской королевской фамилии из тринадцати человек за три-четыре индивидуальных сеанса. Костюмы, ордена, мелкие детали композиции дописывались отдельно по манекенам. Этот групповой портрет вошел в сокровищницу мирового искусства,

Разве он более детален, более напоен «живой кровью», чем любой портрет, сделанный по зарисовкам и фотографиям, на много лет отложенным и извлеченным вновь, вкупе с «отстоявшимися» воспоминаниями.

«Большая история» глядит на нас из всех углов мастерской Юргиса Прейсса. Участники «действия», охватывающего весь мир, чередуются перед нами.

Сальвадор Альенде. Доброе полноватое лицо. Детский врач. Такой пропишет горькое лекарство, и дети, не морщась, принимают его из рук доброго «дяди доктора». Родная страна металась в тяжелом кризисе. Как и подобает врачу, Альенде отставив жизнь дорогого больного, готовый заплатить своей. Он и отдал свою жизнь, но не успел больного спасти. Все это — в портрете, написанном по фото, репродукциям и «личным впечатлениям». Каковы впечатления? «...Я думаю, он был слишком мягок, — считает художник. — Понимаете, был настолько мужественным, что потерял осторожность. Мужественный человек часто бывает недозволенно мягким. Знает свою силу и не учитывает пустячных угроз. А они перерастают в большие бедствия».

Хулиан Гримау. На предутреннем небе, расцвеченном красками восхода, на сиренево-желто-алом фоне стоит человек. Удивительно одинокий, каким и бывает человек на последнем своем рубеже. Никаких прикрас. Упрямый, бешено косящий глаз. Испанец. Краски зари — они же цвета испанского флага. И не случайно — заря. Расстрел на рассвете — символ. За последней зарей Гримау придет заря Испании.

Сикейрос. Очень графичный. Черно-белый. И на фоне — всплеск пронзительно-чистых красок мексиканского флага. Все вместе походит на витраж. Красивая, холодная вещь. Да, художник знал его. Встречал в Берлине, в 1964 году. Сикейрос выступал, рассказывал о своем творчестве. Почему портрет написан «холодной рукой»? «Сикейрос-художник не нравится. Слишком близок к сюрреалистам». Тогда почему написан портрет, коль есть такое неприятие? «Сикейрос-человек — это другое дело. Мне нравится, что он был полковником Мексиканской революционной армии, мужество его нравится, а творчество — нет!»

Слово «мужество» Прейсс произносит часто. Он любит это слово.

— Что я больше всего ценю в людях? Мужество. Да, да, именно бескомпромиссность. Нет, доброту это вовсе не исключает. Для торжества добра порою нужно пройти через горнило зла. Для верной оценки.

Значит, воинствующее добро?

А как же тогда Эйнштейн, чей необыкновенный портрет является как бы символом и эпиграфом этой своеобразной выставки?

Знал ли его Прейсс? Нет, не знал. Видел портрет, написанный швейцарским художником Эрни. «Портрет плохой! Почему-то на фоне из кругов и линий. Фантазмагория. Как будто такому лицу нужны атрибуты!»

Этому лицу действительно атрибуты не нужны, и Прейсс написал его без всяких атрибутов. Самый комплексный портрет выставки самого комплексного человека современной науки.

— Я не хотел, чтобы найденное мной стало источником зла.

— Люди, простите, что я не предвидел последствий.

— Современник, будь осторожен, не отдавай найденное безумцам.

— Потомок, ты простил меня? Мысль служит теперь человеку, но разве зло уже искуплено?

— Я прощаю тебя, человечество. Я верю, что разум обуздает убийство.

Нет, основатель квантовой механики молчал. Ничего этого не было сказано. Все это говорили его глаза.

Гизелла Мэй. Мы знаем это лицо по фотографиям. Темные глаза, темные волосы, тоненькие морщинки около губ. Здесь — иное. Это портрет Мэй в роли мадам Кибэн в спектакле Брехта «Дни коммуны». Как удалось Прейссу сохранить знакомые нам черты, отодвинуть их на сто лет назад, заставить огненные пряди взметнуться от вихря баррикад и к тому же окутать это лицо невидимой дымкой мятежной, гортанной песни «Са ира»? Той самой, что обеспечила бессмертие певице фобургов, Эдит Пиаф. Может быть, недаром так сходна манера Гизеллы Мэй с манерой этой большой актрисы шестидесятых годов? Может, рыжий парик, костистое лицо, резко изломанные брови мятежной Кибэн — наиболее правдивая оболочка для «сущности сущностей» Гизеллы Мэй, и ее, эту оболочку, недаром выбрал для своей модели художник?

Ну, разве не интересно будет через сто лет узнать, какая она была, знаменитая исполнительница брехтовских песен? Не на сцене, не в торжественных панегириках почитателей таланта, а в маленьком берлинском баре, в 1962 году, где познакомился с ней Прейсс.

— Какая она? Не знаю, как о ней сказать. Застенчивая и замкнутая на вид. Нет, вовсе не брехтовская. Наоборот. Чтобы преодолеть застенчивость — неестественно раскованная. Говорит подчеркнуто гортанным голосом. На самом деле — лирична и одинока. И в самой глубине — мадам Кибэн. Вихри баррикад — это как раз ее стихия!

Елена Вайгель. Жена Брехта. 1965 год. Тоже берлинская встреча под девизом «Мир тесен». Почему? «Пойдемте», — зовет Прейсс. Показывает рисунок «Дом на окраине». Авторское повторение. Улица в Хельсинки. В 1937 году художник там жил, а в доме напротив жили Брехт с женой во время эмиграции. Вечерами Прейсс видел через улицу, как шагает по комнате Брехт с неизменной сигарой в зубах. Что-то диктует жене. Немудрено, что первый вариант рисунка «Дом на окраине» художник подарил жене Брехта. Этой женщине, на лице которой написано все: и эмиграция, и скитания, и многолетнее содружество с умнейшим драматургом нашего времени. И годы одиночества после смерти. Годы большой творческой и политической работы. Удивительное лицо. Некрасивое, подчеркнуто некрасивое. Лицо труженицы. Странное, бесполое. Таким может быть и лицо мужчин. Рисковая беседа, острый и цепкий ум, мужская энергия и полное пренебрежение к условностям. «И еще добавьте — чисто женская экспансивность, огромное хлебосольство, и все это на фоне необъятной работы — после смерти Брехта она была директором театра, который назывался «Берлинский ансамбль».

А вот еще... Круглое, немного уширенное лицо. Короткие, будто взъерошенные волосы. Маленькая недобрая морщинка у опущенного уголка губ. Ни во что не верит. Никаких иллюзий. Усталые темные глаза. Это **Забина Круг**. Большая актриса. Исполнительница горьковской Насти в пьесе «На дне». Ныне покойная. Нелепо погибла в 1969 году в автомобильной катастрофе.

— Заказали мне в Берлине портрет актрисы. По фотографиям можно было выбрать наиболее интересное лицо. Я выбрал ее. Она позировала в белом свитере, в ярко-желтой юбке. Такая красивая на фоне окна, через которое виден был каштан! Она очень любила цветение каштана...

Станный портрет. Где же в этом лице печать актерского горения? Это лицо — как потухший костер. Но вот другой портрет Забины Круг. На фоне нерасцветшего

каштана, по-весеннему не защищенного. Вот он, кóстер таланта! Глаза — в пол-лица. Темные, горящие, неожиданные, ожидающие. Ожидающие чего? Цветения? Дождя-лась ли актриса того, чего ждали ее колдовские глаза на этом портрете, написанном не с натуры, а «по впечатлению»?

Каштан в цвету Прейсс написал потом. В ее память.

Кемеровский период творчества художника — это время, когда в мастерской Прейсса в полную силу зазвучала цветная музыка.

Портрет виолончелистки. Кира Цветкова. Приезжала в Кемерово в 1963 году. Удлиненный вертикальный холст. Женщина — как бы продолжение деки виолончели. Золото волос. Черное платье. Изумрудная зелень фона. Все холодноватое, торжественное, праздничное — рядом с теплым темно-каштановым, словно шелковым блеском деки виолончели. От этого переливчатого тепла — вся жизнь портрета. С него портрет начинается. Человек начинается с творчества.

Портрет скрипачки. Польская скрипачка Ванда Вьелкомьерска. Холст опять-таки удлиненный, но горизонтальный. Холст «для скрипки». И лицо женщины, узкое, с вздернутым подбородком, опять-таки продолжает звучащую скрипку, подчеркивая центральность, первичность творчества. Исполнительница в полном единении с инструментом, со звучанием его. И тут тоже — изумрудность фона и каштановое, теплое свечение дерева...

И случайно или нет — та же зелень в фоне портрета пианиста Аптекарева. У Прейса музыка ассоциируется со сверкающей зеленью и с шелковистостью каштаново-теплого дерева. Цвет и музыка. Это уже было. У Скрыбина, когда он мечтал симфонию «Прометей» сопроводить цветовыми эффектами. Может, это и есть дар художника — слышать звучание цвета?

После персональной выставки Юргиса Прейсса в книге отзывов можно прочесть интересные строки: «Часто пишут шахтеров, поглядев на них взглядом туристов, осматривших Колизей». Это относится не к Прейссу. Это — противопоставление.

Нет, не «турист» писал портреты шахтеров-забойщиков Пятака и Нагорного, и «горноспасателя».

— Хорошее слово — горноспасатель, — говорит художник. — Смелый и добрый, он как бы дал мне в руки нить Ариадны — повел в забой, все показал, со всеми познакомил.

— А какой он, бригадир шахты «Северной» Пятак?

— Какой? Большой. Большой и «хорошо скроенный». Красиво так посажена голова, уверенно. Раньше про таких говорили — бравый. Он и внутри тоже какой-то удивительно монументальный!

— А Нагорный с шахты «Центральная»?

— Очень симпатичный. Очень сдержанный. Очень содержательный.

Слово «очень» — его слово.

Эти портреты писал человек, который видел черную кровлю угля, слышал скрип креплений. Кстати, Прейсс без ложного стеснения говорит: «Я все время боялся, когда был под землей». Он до сих пор все изумляется — для шахтеров это повседневная рабочая обстановка. Будни. Портретами шахтеров он недоволен. Считает, что профессия неизбежно откладывает отпечаток на облик человека, но «выпирать» из портрета никак не должна.

— А то пишешь профессию, а не человека! Напишешь портрет — а он так и срещ: я шахтер!

Нет, портретам, написанным Прейссом, это не грозит. Художник к себе неспра-



ведлив. Портреты выдержаны в подчеркнуто бытовом, человеческом плане. Это не декларативные образы под рубрикой «шахтеры». Это люди, которые обладают очень выраженной индивидуальностью, но объединены тем общим впечатлением, о котором и говорил художник.

Не турист, а сын Кузнецкого края писал и «Учительницу Мурашкинцеву». Раньше она работала в Кемеровской картинной галерее, потом ушла в школу. По призванию. В глазах — подвижничество. Словно глядит «глаза в глаза», в чем-то пытается убедить.

Лицо Кузбасса. Это только что получившая письмо «Вера» — лирическая нотка прейссовской выставки, и «Портрет химика Тараторкиной» — фисташково-фиолетовый рассказ о человеке, ученом, обаятельной женщине. Рукой друга писан изумительно правдивый, теплый «Портрет доцента В. Д. Соколова» и чуточку лиричный «Портрет профессора Логачева».

Как относится Прейсс к своим коллегам по кисти? Об этом говорят портреты:

«Художник Галков». Монументалист. И сам немного глыбообразный, надежный, бородатый. И как будто в кольчуге, только это совсем «прирученная» кольчуга. «Жена связала из мягкой шерсти, — улыбается Прейсс. — Я-то знаю, мы с ним очень дружны».

А это?.. Молодой, задиристый, вихрастый. Голова высоко посажена на тонкой детской шее. «Ну, не такой уж он ребенок, — смеется Прейсс. — Это художник Вертков. «Птенчик», — говорит Прейсс ласково, — но какой размах крыльев!»

Не турист писал людей этого края, точно так же, как не взглядом туриста увиден был томский монастырь близ Гарнизонного Госпиталя. Монастырь не существует бо-

нее. Он снесен. Этот холст тоже можно считать портретом. Исчезнувшей, а потому вдвойне ценной историей.

И не турист писал «Паек военных лет» — хлеб, горький хлеб войны, полученный по карточке. Натюрморт в стиле Венецианова. И это — портрет. Портрет войны. И как написан! В точном классическом стиле. Реализм, предельно освященный чувством.

— Откуда эта эпическая классичность в «Военном пайке»?

— А разве паек в военные годы не был эпосом? — отвечает художник. — В ином стиле его и писать нельзя.

Был ли Прейсс когда-нибудь «не реалистом»? Был. Переболел модой времени. Представьте себе тридцатые годы в Париже. Вовсю свирепствует кубизм. От импрессионистов — чистые краски. Звучные краски и прямота линий сменили пастельность, причудливость и «намеченность» контура. Люди отринули все, что любили в девятисотые годы, и приняли нечто прямо противоположное — кубизм. Но Прейсс любил импрессионистов. Импрессионисты и Париж для него не делимы. В ту пору Пикассо смущает умы. Пикассо рушит каноны. Молодой Прейсс принимает и его, и его «крушительство». В 1934 году в Цюрихе видит выставку Пикассо — 500 картин, от которых стонут искусствоведы. Видит и самого художника — «коренастый, подвижный человек с круглыми, бегающими глазами, похожий на птицу». Его портрет Прейсс написал позднее. Когда кончилась вакханалия цвета и упоение легкостью письма. В ту пору исканий написаны «Женщина с атласом», «Женщина в желтом платье». Платье женщины, желтизны и блеска необыкновенного, не могло оставить равнодушным Прейсса тех лет. «Париж — такой радостный город. Солнечное утро. Красивое сверкающее платье. Как было не написать?» А лицо? Лица нет. В то время это казалось второстепенным.

Хорошо, что «парижский период» прошел. Как корь, как коклюш, которыми нужно переболеть в детстве. Вместе со зрелостью наступило переосмысление творческой задачи. Отсюда — счастливый возврат к реализму. К доброму реализму не того, кто фотографично копирует виденное, за неимением эмоций или за неумением передать не только «подслой» вещей, но часто и видимую форму. У Прейсса реализм мастера, который все испробовал, переоценил, взвесил и вернулся к мудрой «истине истин». Двух истин быть не может. Истина — в правде жизни. Она же и есть реализм.

— Для меня Сибирь и реализм неотъемлемы друг от друга, — утверждает Прейсс. Сибирь действительно стала для него второй родиной в период становления зрелости. Эвакуация в Томск. Новосибирск. Кузбасс. Двадцать лет, проведенных в Кемерове. Почти половина его творческого пути прошла здесь. По праву его можно назвать сыном этого края. Он сам считает именно так.

— Никуда отсюда не уеду. Даже в Прибалтику не тянет. Поехать проведать — это можно. Но жить там — нет. Привык к здешним масштабам. Когда в 1963 году я принял приглашение берлинских коллег и провел пару лет за границей, просто задышался от «обуженности». А в капстранах — теснота двойная. Все узкое, мелкое. Люди какие-то душные. Закрытые наглухо. Сибирь многому учит. Чтобы Сибирь полюбить, нужна степень сравнения. Я сравнил и выбрал. Здесь моя вторая родина.

Побыв на выставке Прейсса, а тем более в его мастерской, хочется спросить у художника: по какому принципу выбирал он «модели»? Но ведь это то же самое, что спросить: по какому принципу он выбирал себе друзей, общался с этими, а не какими-нибудь другими людьми. Нет, это не вопрос. Тогда — иначе. Что было стержнем его контакта с людьми, стержнем его творчества?



ПОРТРЕТ ШАХТЕРА
НАГОРНОГО

— Верил и верю в торжество добра и разума. И портреты писал, исходя именно из этого убеждения.

Исчерпывающий ответ: Вот откуда вопрошающие, молящие, всепрощающие глаза Эйнштейна!

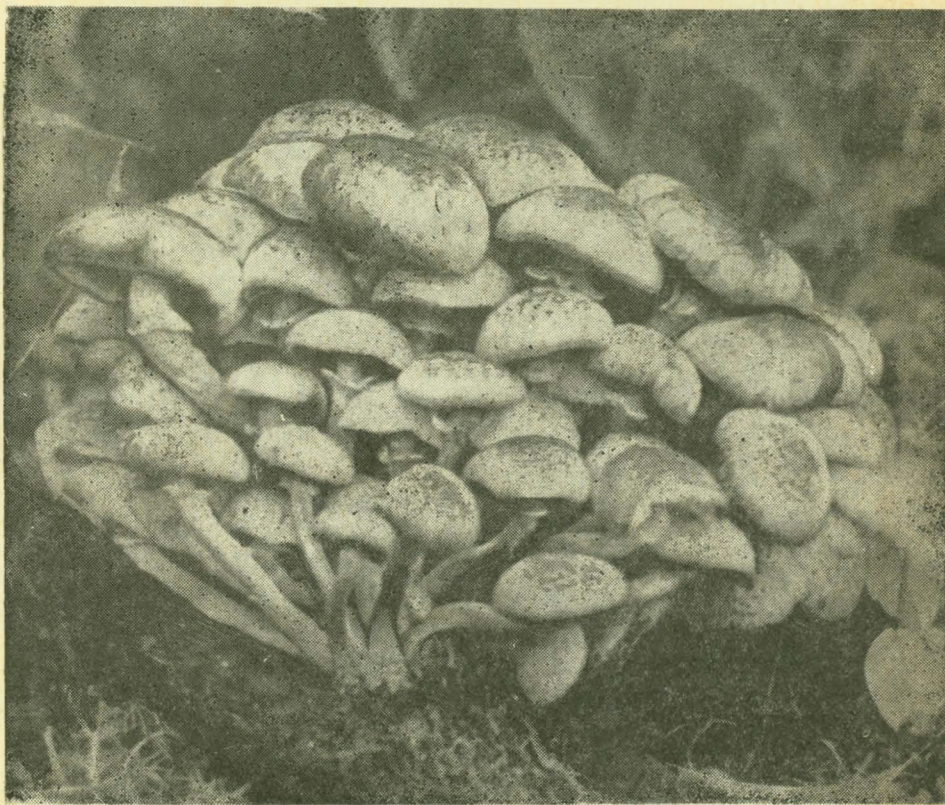
Уходя с выставки и из мастерской Прейсса, человек уносит с собой его веру в добро. И присоединяется к отзывам:

«Выставка Прейсса — жизнь человеческая».

«Чувствуешь зависть к этому человеку — его жизнь прожита не зря!»

К своему юбилею Юргис Прейсс получил два знаменательных подарка. На открытии персональной выставки юбиляру преподнесли натянутый на подрамник чистый холст. Потому что ясно, что художник относится к людям, «возраста не имеющим», и, значит, самое заветное предстоит написать.

И еще получил художник семь алых гвоздик. По одной на каждое десятилетие своей яркой жизни. Яркой оттого, что творчество Прейсса — есть свидетельство полувека.



Пять-о-пять опять-вопять:
— У пенька сидим мы в ряд,
А ребята все корзины
Мимо нас несут к малине.

Е. Леволь

27 коп.

Кемерово

